

8P1  
Δ33



809  
D. 33.

инв. 11448

ой демократии и самокритики.  
Самокритика внутри партии имела  
большое значение в борьбе с элемен-  
тами разложения и бюрократизма в  
партийном аппарате, в борьбе против  
искажения генеральной линии пар-  
тии.

организаций. Нельзя забывать ни на  
минуту, что развертывание внутри-  
партийной демократии и самокритики  
способствует вовлечению партийных  
масс в активную работу, выковывает  
новые тысячи энергичных борцов за  
социализм.

4/III 1123

## Рост активности членов партии

XVI съезд партии отметил рост ак-  
тивности партийных масс.  
Следующие факты говорят об этом.  
Несмотря на то, что, в связи с пе-  
реходом на непрерывку, около 20%  
остава партийной ячейки отсутству-  
ет на партсобраниях, посещаемость  
последних достигает в среднем 70—  
80 процентов.

Это значит, что мы имеем почти  
полное участие партийцев в парт-  
собраниях. При обсуждении вопросов  
на собраниях ячейки в прениях, как

правило, участвует значительная  
часть партийцев.

Это вовсе не значит еще, что в пар-  
тии нет людей пассивных. Уже один  
тот факт, что во время чистки из пар-  
тии было исключено 32 000 человек  
за пассивность, говорит о наличии из-  
вестного слоя неактивных коммуни-  
стов.

Партия активизирует своих чле-  
нов. Негодных же, неспособных ак-  
тивно бороться за партийное дело она  
исключает из своих рядов.



2 8 1 0

ПРОБЕРЕНО

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ и фотографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

8

Выпускъ второй.

Цена 1 руб.

Муниципальное казенное учреждение  
культуры Муниципального  
образования город Ирбит  
«Библиотечная система»



МОСКВА.

ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.

Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.

1907.



1

Изданія А. С. Панафидиной.

Москва, Покровка, Лилинъ переулокъ, собственный домъ.

---

**Н. ДЕНИСЮБЪ.**

## Критическая литература о произведе- ніяхъ А. Н. Островскаго.

Въ четырехъ книгахъ въ хронологическомъ порядкѣ размѣщены критическія статьи о драматическихъ произведеніяхъ Островскаго. Здѣсь собрано все, что представляетъ для нашего времени литературный интересъ.

Всѣ лучшія статьи русскихъ критиковъ о нашемъ драматургѣ извлечены изъ журналовъ и сочиненій и размѣщены въ этомъ изданіи.

Всѣ статьи, вошедшія въ это изданіе, снабжены подробными примѣчаніями, выясняющими литературную знацію ихъ авторовъ, журналовъ и т. д., сдѣланы поясненія, дополненія, историческія справки, переводы и пр.

Къ первому выпуску приложены портреты и подробный біографическій очеркъ.

Первый выпускъ, 389 стран. Цѣна 1 руб.

Второй выпускъ, 377 стран. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Третій выпускъ, 392 стран. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Четвертый выпускъ, 423 стран. Цѣна 1 руб. 50 коп.

---

## КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА о произведеніяхъ М. Е. Салтыкова-Щедрика.

Съ портретоми, біографическимъ очеркомъ и примѣчаніями.

Составилъ Н. ДЕНИСЮБЪ.

Выпускъ первый (1856—1863 гг.).

Въ первый выпускъ вошли статьи: Н. Добролюбова, П. Чернышевскаго, П. Анненкова, А. Дружинина, Е. Эдельсона и др.; статьи изъ „Отечественныхъ Записокъ“, „Библіотека для Чтенія“, „Голоса“, „Сына Отечества“, „Спб. Вѣдомостей“, „Сѣверной Пчелы“, „Русскаго Инвалида“ и т. д. М. 1905. Цѣна 1 руб.



2  
83.3/2702  
к 82  
инв. 11140

809  
2.33.  
8P1  
933

2/

# КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

## гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ и биографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ второй.

Цена 1 руб.

МОСКВА.  
ИЗДАНИЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.  
Покровка, Дялинь переулокъ, собств. домъ.  
1907

3799



153  
21.2

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-А.М.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### второго выпуска.

Стр.

Основные мотивы поэзии гр. А. Толстого. Л. Бѣльскій. („Русское Обозрѣ- ніе“, 1894 г., № 3.) . . . . .	1
„Князь Серебряный“, историч. романъ гр. Толстого. В. Портъниковъ. („Отечеств. Зап.“, 1863 г., № 2.) . . . . .	15
Искусство, религія, народность. По поводу сочиненій гр. А. К. Толстого. П. Щебальскій. („Русскій Вѣстн.“, 1883 г., № 3.) . . . . .	42
Графъ А. К. Толстой. А. („Русскій Вѣстн.“, 1875 г., № 11.) . . . . .	74
Поэтъ-богатырь. По поводу писемъ гр. Алексѣя Толстого. М. О. Меншиковъ .	94
„Князь Серебряный“, повѣсть гр. А. К. Толстого. М. Е. Салтыковъ-Щед- ринъ. („Современникъ“, 1863 г., № 4.) . . . . .	124
„Князь Серебряный“, повѣсть гр. А. К. Толстого. („Время“, 1862 г., № 14.) . . . . .	138
„Князь Серебряный“, повѣсть гр. А. К. Толстого („Голосъ“, 1863 г., № 48.) .	145
Очерки литературы. Памяти гр. А. К. Толстого. „Драконъ“, первое по- смертное произведеніе А. К. Толстого. Х. У. З. („Голосъ“, 1875 г., № 279.) . . . . .	154
Литература и жизнь. Гр. А. Толстой. Полное собраніе его стихотвореній. Драматическая трилогія: „Смерть Іоанна Грознаго“, „Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ“, „Царь Борисъ“. „Князь Серебряный“, повѣсть. („Го- лосъ“, 1876 г., №№ 131 и 132.) . . . . .	158
Историческое значеніе поэзии гр. А. К. Толстого. Н. Котляревскій. („Подъ знаменемъ науки“, сборникъ.) . . . . .	185

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### статей второго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

Стр.

„Іоаннъ Дамаскинъ“. Статьи:	
Л. Бѣльскаго . . . . .	1
П. Щебальскаго . . . . .	53, 60, 63
„Русск. Вѣстника“ . . . . .	80
„Голоса“ . . . . .	166
Н. Котляревскаго . . . . .	194



	Стр.
„Донъ-Жуанъ“. Статьи:	
Л. Бѣльскаго . . . . .	2
П. Щебальскаго . . . . .	60
„Голоса“ . . . . .	162, 179
Н. Котляревскаго . . . . .	193
✓ Мелкія стихотворенія. Статьи:	
Л. Бѣльскаго . . . . .	3
П. Щебальскаго . . . . .	50, 70
„Русск. Вѣстника“ . . . . .	77
„Князь Серебряный“. Статьи:	
В. Порѣчникова . . . . .	15
„Русск. Вѣстника“ . . . . .	82
М. О. Меньшикова . . . . .	114
М. Е. Салтыкова-Щедрина . . . . .	124
„Времени“ . . . . .	138
„Голоса“ . . . . .	145, 161, 165
„Грѣшница“. Статьи:	
П. Щебальскаго . . . . .	51, 60, 61
Н. Котляревскаго . . . . .	193
„Пѣнь о походѣ Владимира“. Статьи:	
П. Щебальскаго . . . . .	62, 65, 66
„Смерть Іоанна Грознаго“. Статьи:	
„Русск. Вѣстника“ . . . . .	83
„Голоса“ . . . . .	168
„Посадникъ“. Статьи:	
„Русск. Вѣстника“ . . . . .	90
„Драконъ“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	154, 160
„Кузьма Прутковъ“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	160
„Трилогія“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	166, 172
„Слѣпой“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	167
„Царь Борисъ“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	170
„Федоръ Іоанновичъ“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	172
„Алхимикъ“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	179
„Потокъ-Богатырь“. Статьи:	
„Голоса“ . . . . .	183



## Основные мотивы поэзии графа А. Толстого \*).

(Читано въ Обществѣ Любит. Росс. Слов. 29 янв. 1894 г.)

«Мы съ товарищемъ сидимъ по вечерамъ дома и читаемъ вмѣстѣ сочиненія гр. А. Толстого. Чтѣ за прелесть! Право, крылья за собою чувствуешь, вслушиваясь въ эту русскую рѣчь, брызжущую поэтическими порывами и возвышенными помыслами». Такъ писалъ только что кончившій университетскій курсъ молодой человѣкъ въ одинъ журналъ въ восьмидесятыхъ годахъ. Да и кто изъ насъ, особенно въ юности, не зачитывался этимъ поэтомъ? Кто не заучивалъ его стихотвореній безъ приказанія, добровольно? Когда такъ хочется вѣрить, простить, любить, преклониться предъ чистую красоту или страдать чистымъ страданіемъ, уйти подалеже отъ дрязгъ житейскихъ; когда, весь горя идеализмомъ, человѣкъ только и хочетъ жить въ высшихъ сферахъ вѣры, любви и искусства,—тогда въ стихотвореніяхъ Толстого онъ находитъ вѣрные отзвуки своимъ душевнымъ порывамъ, отзвуки гармоничные и удивительно разнообразные.

Глубокимъ религіознымъ чувствомъ проникнута поэма Толстого Іоаннъ Дамаскинъ, поражающая и красотой стиха, и возвышенностью идеи, и законченностью образа. Взявъ сюжетъ изъ Четыхъ-Миней, нашъ поэтъ создалъ живое лицо святого, свободного служителя искусства, проникнутаго полнымъ чувствомъ природы и всеобъемлющей любовью, отшельника, отказавшагося отъ всѣхъ благъ земныхъ ради Бога и поэзіи,—лицо до такой степени идеальное, что для его созданія только и можно было обратиться къ тѣмъ временамъ, когда святые ходили по землѣ. Тѣмъ же

\*) «Русское Обозрѣніе», 1894 г., № 3.



религіознымъ чувствомъ проникнуты и многія изъ стихотвореній личнаго характера у нашего поэта. Ослабѣваетъ ли онъ на поэтическомъ поприщѣ, — онъ молить Господа «дохнуть живящей бурей» на него; думаетъ ли о смерти, — онъ видитъ небеса, гдѣ «блаженствомъ сіяющіе лики отвращены отъ міра суеты».

Отсюда, изъ этой постоянно присущей ему вѣры, вытекаетъ и взглядъ его на людскіе проступки, взглядъ, дышащій мягкостью прощенія и очищенія. Поэтому онъ и изъ евангельской исторіи беретъ сюжетомъ «Грѣшницу» и свой переводъ изъ Гёте «Богъ и Баядера» кончаетъ словами:

Раскаянье грѣшныхъ любимо богами,  
Заблудшихъ дѣтей огненными руками  
Благіе возносятъ къ чертогамъ своимъ.

Раскаяніемъ и вѣрою спасается евангельская грѣшница, раскаяніемъ и чистой любовію искупаетъ Баядера грѣхи свои.

Неразрывно связывая вѣру съ любовью, нашъ поэтъ и изъ многочисленныхъ вариантовъ сюжета Донъ-Жуана выбираетъ наименѣе согласный съ основнымъ типомъ, но болѣе близкій къ основнымъ своимъ взглядамъ. Герой драмы, тщетно стремящійся къ осуществленію своего идеала и въ отчаяніи объявившій себя врагомъ самого неба, стоя на краю гибели, чистою любовью искупаетъ свои преступленія, любовью пріобрѣтаетъ спасающую его вѣру и достигаетъ полной законченности идеальнаго образа, при которой нѣтъ ему иного мѣста въ мірѣ, какъ сдѣлаться отшельникомъ, подобно Дамаскину. Не забудемъ, что эстетическое чувство пріорождено Донъ-Жуану, что онъ ищетъ высочайшей красоты и полонъ такой ея жажды, «которой нѣтъ на свѣтѣ утolenья». Самыя понятія любви близки у обоихъ лицъ. Донъ-Жуанъ служить любви, чтобъ она его «роднила со вселенной», «всѣхъ истинъ онъ источникъ видитъ въ ней, всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину», и Дамаскинъ полонъ этой вселенской любви:

О, если бъ могъ всю жизнь смѣшать я,  
Всю душу вмѣстѣ съ вами слѣть;  
О, если бъ могъ въ мои объятья  
Я васъ, враги, друзья и братья,  
И всю природу заключить!



Вѣра, чистая любовь и чувство изящнаго — вотъ три основныхъ мотива указанныхъ произведеній; будучи соединены въ одно цѣлое, эти мотивы даютъ вполне законченные идеальные образы у нашего поэта. Но не составляютъ ли они только нѣчто объективное для него? Справедливо ли считать Іоанна Дамаскина лирическою поэмой, а Донъ-Жуана лирическою драмой? Не любитъ ли этими мотивами поэтъ издаться, не вынося ихъ изъ своей души? Не есть ли это пустой сентиментализмъ, и авторъ, создавая чудные образы, въ себѣ носить нѣчто, не только имъ чуждое, но даже, можетъ-быть, противоположное? Отвѣта на эти вопросы слѣдуетъ искать въ его произведеніяхъ личнаго характера, гдѣ его душа обнажена передъ нами, гдѣ длинною вереницей проходятъ передъ нами его чувства и думы. Обратимся къ нимъ, къ тому, что онъ называлъ своими Пѣнями.

Первое, что поражаетъ читателя при чтеніи подъ рядъ этихъ мелкихъ произведеній въ первомъ томѣ, это то, что они представляютъ изъ себя цѣлую лирическую поэмую романическаго характера. Сдѣлаемъ маленькое библиографическое отступленіе. Если читать ихъ по изданію 1877 года, гдѣ они расположены въ алфавитномъ порядкѣ, то подобная мысль не придетъ въ голову, потому что тамъ славянофильское стихотвореніе «Колокольчики мои» стоитъ рядомъ съ такимъ стихотвореніемъ, какъ «Коль любить, такъ безъ разсудку», и грустная элегія «Острою сѣкирой» рядомъ съ славянофильскимъ же «Ой, стоги, стоги». Но совѣмъ другое въ первомъ изданіи 1867 г., гдѣ порядокъ установленъ самимъ авторомъ, или въ изданіи 1884 г., повторившемъ этотъ порядокъ. Здѣсь, начиная со стихотворенія «Горными тихо летѣла...» и кончая крымскими очерками, почти страница за страницей, послѣдовательно идетъ эта лирическая поэма, состоящая изъ 82 отдѣльныхъ мелкихъ произведеній. Поэма эта раздѣляется стихотвореніемъ «Коль любить, такъ безъ разсудку» на двѣ части: въ первой одно дѣйствующее лицо — самъ авторъ, во второй два — авторъ и предметъ его любви; первая представляетъ недовольство поэта собою, жалобу на гнетъ жизни, на поэтическое бездѣйствіе, тревоги, сомнѣнія, горе поэта и разрѣшается, наконецъ, чувствомъ обновленія и душевной бодрости; вторая — это романъ, вначалѣ звучащій печально, но разрѣшающійся чувствомъ полного сча-

стія и взаимнаго довольства. Къ сожалѣнію, въ печати мало біографическихъ данныхъ о Толстомъ, и мы не можемъ указать, какіе именно факты изъ его жизни отразились въ этой поэмѣ.

Первая часть начинается нѣкоторымъ возраженіемъ автора самому себѣ на мысль, неоднократно имъ высказываемую и только что выраженную въ стихотвореніи «Тщетно, художникъ», что поэтъ, «глухой для земли», слушаетъ только неземное или, какъ говорить онъ въ стих. «И. С. Аксакову»,

... Жизнью смертнаго дыша,  
Гляжу съ любовью на землю,  
Но выше просится душа.

Теперь, «горними тихо летя небесами», душа поэта проситъ Создателя отпустить ее снова на землю, дорогую ему страданіемъ и горемъ, гдѣ «было бъ кого пожалѣть и утѣшить кого бы». Чѣмъ же объясняется это стремленіе автора сойти изъ «пространства, гдѣ много невидимыхъ формъ и неслышимыхъ звуковъ», на землю съ ея страданіями? Что заставило его отвести взоры отъ привычныхъ ему небесъ? Кого ему хочется пожалѣть и утѣшить? Какъ увидимъ далѣе, у него начался романъ, въ благополучномъ исходѣ котораго онъ не увѣренъ. Онъ страдаетъ и полонъ тоски и поэтическаго бездѣйствія! Начинается рядъ стихотвореній, заключающихъ долгія жалобы на неудовлетворенность жизни. Много звуковъ у поэта «въ сердца глубинѣ, неясныхъ думъ, непѣтыхъ пѣсень много», но ихъ заглушаетъ жизнь, въ которую брошено сердце, «какъ въ студеную воду», и которая сдѣлала съ поэтомъ «недоброе дѣло». «Думушки его всходятъ лютой печаль-травой, вырастаютъ горючимъ горемъ». Поэтъ разочаровывается въ себѣ: въ прежніе годы душа его была непорочна; теперь ему «стали понятны обманъ и коварство, и зло, и многія свѣтлыя мысли одну за другой унесло». Онъ думаетъ о «дняхъ минувшихъ», когда онъ «былъ добрѣе». Горе его растетъ, и онъ теряетъ надежду отъ него избавиться:

Туманная гряда  
Разсѣется, разсѣется,  
А горе — никогда!

Поэтъ ищетъ причины своей тоски и внутри себя, въ своей поэтической дѣятельности. Онъ анализируетъ ее и находитъ, что онъ всегда былъ вѣренъ себѣ, что онъ не былъ



«бойцомъ двухъ становъ», что онъ, въ силу незыблемыхъ убѣжденій и «знамени врага отстаивалъ бы честь». Ища обвиненій въ совѣсти, поэтъ не находитъ ихъ:

Чисты мои мысли, чисты побужденья,  
А на свѣтѣ жить мнѣ тяжело и больно.

Душа его «собою вѣчно недовольна, нѣтъ ей приговора, нѣтъ ей примиренья». Итакъ, убѣжденія его безупречны, а между тѣмъ, онъ страдаетъ. Не въ недостаткѣ ли поэтической силы и выдержки лежитъ основа его тревоги?

Господь, меня готова къ бою,  
Любовь и гнѣвъ вложилъ мнѣ въ грудь...  
И гнѣвъ я свой истратилъ даромъ,  
Любовь не выдержалъ свою...  
Я вышелъ въ поле безъ кольчуги  
И гибну раненый въ бою!

Не проза ли житейская отвлекаетъ его отъ его высокаго призванія?

... Честь ли молодцу  
Гусляру-пѣвуну во приказѣ сидѣть,  
Во приказѣ сидѣть, потолокъ коштить?  
Ой, коня бѣ ему, гусли звонкія!..  
Черезъ рѣченьку, да во темный садъ,  
Гдѣ соловушка на черемухѣ  
Цѣлу поченьку напролетъ поетъ!

Житейскій шумъ, житейская проза давятъ поэта. Вмѣстѣ съ чѣмъ-то «невѣдомымъ, незнаемымъ» они породили его горе, не налетное, но долгое, тягучее, какъ «осенній мелкій дождичекъ, сѣть и сѣчетъ оно безъ умолку», —

Безъ умолку, безъ усталы,  
Безъ конца сѣчетъ, безъ отдыха,

и «клонится его головушка, безталанная, горемычная». Этотъ невыносимый гнетъ жизни и горя достигаетъ крайнихъ предѣловъ, и избавленіе отъ него поэтъ видитъ только въ смерти, когда «всѣ невидимыя муки»,

Нестройный гулъ сомнѣній и заботъ,  
Всѣ межъ собой враждующіе звуки  
Послѣдній часъ въ созвучіе сольется.

Въ такомъ безвыходномъ состояніи, въ мукахъ отъ поэтического бездѣйствія, отъ сомнѣній и заботъ, тоскующій,

опустившій руки поэтъ, не находя въ себѣ самомъ силъ, съ глубокою вѣрой прибѣгаетъ къ молитвѣ:

Дохни, Господь, живящей бурей  
На душу сонную мою!  
Какъ гласъ упрека, надо мною  
Свой громъ призывный прокати,  
И выжги ржавчину покоя,  
И прахъ бездѣйствія смети!

И вотъ, вслѣдъ за этой молитвой, поэтъ чувствуетъ успокоеніе. Въ своемъ горѣ онъ видитъ уже не что-либо свое, въ немъ зародившееся, а что-то внѣшнее, какого-то «злого духа». Онъ чувствуетъ силу бороться съ нимъ и съ самой жизнью, этою «бабой-ягою», съ которою онъ собирается «схватиться снова». Уже онъ спрашиваетъ себя: «Что мнѣ тужить за охота?» Является надежда, что

Уймется волненье, и вскорѣ  
Въ свой уровень вступитъ законный  
Души успокоенной море,

а затѣмъ наступаетъ полное самообладаніе и поэтическое сочувствіе съ природой:

О, море! Кого же мнѣ вызвать на бой,  
Извѣдать воскресія силы?  
Почуяло сердце, что жизнь хороша;  
Вы, волны, размыкали горе:  
Отъ грома и плеска проснулась душа—  
Сродни ей шумящее море!

Уже не «думушка—лютая печаль-травя» вырастаетъ на сердцѣ поэта, а «дума, словно дерево, задрожитъ, зашумитъ тучей листіевъ». «Сердце знаетъ ту думу крѣпкую, что оно взрастило, взлелѣяло». Это нѣчто могучее, необъятное, «думушка, что ни высказать, ни вымѣрить, ни обнять умомъ»; и эти думы ткуть поэту золотой узоръ на темной ткани жизни. Поэтъ бодръ, полонъ силы и поэтического вдохновенія; вернулось къ нему минувшее время:

Я васъ узналъ, святые убѣжденія,  
Вы—спутники моихъ минувшихъ лѣтъ!..  
Разсѣялся туманъ, и, слава Богу,  
Я выхожу на старую дорогу...  
Попрежнему сияетъ правды сила,  
Ея сомнѣнія болѣе не затмятъ.



Это поэтическое возрожденіе свое авторъ изображаетъ въ видѣ весны:

Зима прошла, природа зеленѣетъ,  
Луга цвѣтутъ, весной душистой вѣетъ...

Звонче жаворонка пѣнье,  
Ярче вешніе цвѣты,  
Сердце полно вдохновенья,  
Небо полно красоты.  
Разорвавъ тоски оковы,  
Цѣли пошлыя разбивъ,  
Набѣгаетъ жизни новой  
Торжествующій приливъ.

Такъ заканчивается первая половина этой лирической поэмы. Все горе, тоска отъ поэтическаго бездѣйствія, мечты о смерти, все разрѣшилось торжествующимъ приливомъ новой жизни.

Какая же это новая жизнь? Что за весна настала для поэта? Одно ли это само-собою возникшее возрожденіе поэзіи, котораго такъ долго и тщетно искалъ онъ, или сюда примѣшалось нѣчто другое? Отчего воскресли святыя убѣжденія, появились крѣпкая дума, удалъ, силы для боя и торжество жизни? Чего недоставало поэту для цѣльности, для гармоніи его жизни? На эти вопросы даетъ отвѣтъ вторая половина поэмы, которая объясняетъ намъ и новую жизнь и чего недоставало поэту раньше. Конечно, шумъ свѣтской жизни, эта «студеная вода», два «стана», звавшіе поэта въ свои ряды, остались тѣ же, но мы уже не услышимъ жалобъ его на нихъ; явилось нѣчто, что слило въ созвучіе разладъ «враждующихъ звуковъ, нестройный гулъ сомнѣній и заботъ». Это не смерть, какъ раньше ждалъ поэтъ, а это любовь—истинная причина и горя и торжества его. Не было удовлетворяющей любви съ тою, на которую онъ обратилъ взоръ свой съ поэтическихъ небесъ на землю, не было и гармоніи въ жизни. Теперь не то: любовь взяла свои права, и ликующій пѣвецъ уже не гнетъ «головушку безталанную, горемычную», а полный свѣжихъ силъ и молодецкой удали, смѣло ударяетъ въ свои гусли:

Коль любить, такъ безъ разсудку,  
Коль грозить, такъ не на шутку...  
Коль простить, такъ всей душой,  
Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Но что это? Удаляя струны вдругъ смолкаютъ. Опять минорный тонъ; опять печаль, слезы. Но взглянемся: теперь не самъ поэтъ—центръ этой печали, а предметъ его любви. Поэтъ только сострадаетъ, только сочувствуетъ ея печали. Его избранница открыла ему свою душу, полную грусти и страданій. Причина ея горя—первая ея любовь. И поэтъ утѣшаетъ ее; онъ проситъ ее «не вѣрить себѣ» самой; тотъ, котораго она любила раньше, «не могъ привлечь ее собою»; онъ только «отысканный предлогъ для ея тайныхъ думъ и мученій и блаженства»; поэтъ проситъ ее видѣть въ прошломъ «лишь обманъ неопытнаго взора». Но рана въ ея сердцѣ слишкомъ глубока, и поэтъ оканчиваетъ стихотвореніе «Острою сѣкирой ранена береза» словами: «Лишь больное сердце не залѣчить раны».

Отъ своей избранницы поэтъ переноситъ думы на самого себя и спокойно анализируетъ свои отношенія.

Средь шумнаго бала, случайно,  
Въ тревогѣ мірской суеты

произошла первая встрѣча, и первымъ чувствамъ своимъ послѣ этой встрѣчи поэтъ даетъ такое выраженіе:

Люблю ли тебя, я не знаю—  
Но кажется мнѣ, что люблю!

Онъ задумывается надъ ними. Рефлексъ останавливаетъ вспышку любви безъ разсудка; послѣдній является на сцену со своими расхолаживающими сомнѣніями:

Смѣюсь я, товарищъ, мечтаньямъ твоимъ,  
Смѣюсь, что ты будущность губишь.  
Ты мыслишь, что вправду ты ею любишь,  
Что вправду ты самъ ее любишь?  
Случайно сошлись вы въ мірской суетѣ,  
Вы съ ней разойдетесь случайно.

Тревожныя сомнѣнія, навѣянные разсудкомъ, поэтъ по-вѣряетъ своей избранницѣ; онъ боится за себя:

О, другъ ты мой бѣдный! Боюсь, со мной  
Не быть тебѣ долго счастливой.  
Во мнѣ и надеждъ и отчаяній рой,  
Кочующей мысли прибой и отбой,  
Приливы любви и отливы.

Однако, провѣривъ себя, почувствовавъ возникающія силы, онъ сейчасъ же и успокаиваетъ ее:



Не вѣрь мнѣ, другъ, когда, въ избыткѣ горя,  
Я говорю, что разлюбилъ тебя.  
Въ отлива часъ не вѣрь измѣнѣ моря:  
Оно къ землѣ воротится, любя.

Наконецъ, онъ вполнѣ отдается новому чувству и, оставляя всякій анализъ, въ порывѣ нѣжной ласки говорить:

Ты не спрашивай, не распытывай,  
Какъ люблю тебя, почему люблю,  
И за что люблю, и надолго ли?..  
Полюбивъ тебя, я махнулъ рукой,  
Очертилъ свою буйну голову!

Цѣлый гимнъ любви выливается изъ души поэта; вся природа передъ нимъ живетъ и полна одной любовью; поэтъ слышитъ,

Какъ сердце каменное горѣ  
Съ любовью въ темныхъ нѣдрахъ бьется,  
Съ любовью въ тверди голубой  
Клубится медленные тучи,  
И подъ древесною корою,  
Весною свѣжей и пахучей,  
Съ любовью въ листья сокъ живой  
Струей подымается пѣвучей...  
И всюду звукъ и всюду свѣтъ,  
И во всемъ мірамъ одно начало,  
И ничего въ природѣ нѣтъ,  
Что бы любовью не дышало...

Послѣ такого подъема духа, когда изъ сферы разсуждений и восторговъ пришлось обратиться къ суровой дѣйствительности, вновь начинаются печальныя мелодіи. Рана въ сердцѣ возлюбленной не заживала, и не рѣчи страсти, не веселье, не смѣхъ были въ устахъ любящей четы: «Ты грустна, — говоритъ поэтъ, — въ тебѣ есть скрытое мученье»;

... Если бъ видѣть ты любящую душою  
Могла со стороны хоть разъ свою печаль—  
О, какъ самой себя тебѣ бы стало жаль,  
И какъ бы плакала ты грустно надъ собою!

А вотъ и вечеръ, чудный весенній вечеръ, когда «западъ гаснетъ въ дали блѣдно-розовой, звѣзды небо усыпали чистое», — онъ не можетъ избавить влюбленныхъ отъ ихъ скорби, и подъ пѣсню соловья не налетаютъ на нихъ грезы счастья — слезы льются подъ ея звуки:

Плачь свободно, моя ненаглядная,  
Пока пѣсня звучитъ соловьиная,

говорить сострадающій поэтъ и ко сну отходящую возлюбленную благословляетъ пожеланіями «иной» жизни:

Да снидетъ ангелъ сна, прекрасенъ и крылатъ,  
И да перенесетъ тебя онъ въ жизнь иную!

Эта иная жизнь, не жизнь земного счастья, а жизнь иного міра. Мечты о смерти носятся надъ ними, и поэтъ умоляетъ:

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище,  
Среди міровъ иныхъ!

И готовясь къ вѣчной разлукѣ, онъ въ торжественной элегіи прощается со своей избранницей:

Прощальный взоръ бросая нашей жизни,  
Душою, другъ, взгляди въ мои черты,  
Чтобы узнать въ заоблачной отчизнѣ,  
Кого звала, кого любила ты.

Но, дойдя до высшей степени тревоги и душевныхъ страданій, романъ разрѣшается не вѣчною, а лишь временною разлукой, которой посвящены четыре стихотворенія, гдѣ поэтъ говоритъ, что «душа его полна разлукою», называетъ свою избранницу «сестрой своей души», постоянно видитъ передъ собою ея «кроткій образъ, знакомый и любимый», и ждетъ съ нетерпѣніемъ, «когда повѣетъ осень и, сыпя желтый листъ, ихъ вновь соединитъ!»

Наконецъ, наступила желанная осень, «осыпался бѣдный садъ», кончилась разлука, и началась новая пора любви свѣтлой, прочной, ничѣмъ не смущаемой и не нарушаемой. «Минула страсть, и пылъ ея тревожный уже не мучилъ сердца» поэта; настала пора «Крымскихъ очерковъ», — любящая чета наслаждалась безмятежнымъ счастьемъ. Шумѣло море, въ шиповникѣ пѣлъ соловей, но подъ его пѣсню уже не катились изъ глазъ слезы: подруга поэта

Безпечно смѣялась — цвѣты на лошаdkѣ,  
Въ рукахъ и на шляпѣ цвѣты.

Дивная природа въ глазахъ поэта блеститъ лишь для ея отрады:

Не для тебя ли по скаламъ  
Вѣгуть и плещутъ водопады?  
Не для тебя ль въ ночной тиши



Вчера цвѣты благоухали?  
Изъ синихъ волнъ не для тебя ли  
Восходятъ солнечные дни?

Такъ заканчиваетъ свою поэму вполне счастливый поэтъ.

Вотъ содержаніе большинства изъ 82 стихотвореній Толстого, составляющихъ нѣчто цѣлое. Пустота жизни и тоскливое бездѣйствіе первой части разрѣшаются во второй—любовью, сперва омрачаемой горемъ подруги поэта, но потомъ приводящей къ полному счастью.

Изъ этого длиннаго ряда, изъ этой лирической поэмы видно, какъ душа поэта искала гармоніи между тремя основными мотивами идеальной жизни. Это исканіе и есть связующее звено всей поэмы. Поэтъ былъ неразлученъ только съ однимъ элементомъ этой тріады—съ вѣрою; но пока не было удовлетворяющей любви, не было и поэтическаго вдохновенія: явилась любовь, воскресла и поэзія. Пресловутый поэтъ Кукольникъ когда-то писалъ:

Пора любви, пора стиховъ  
Не одновременно приходятъ:  
Придутъ стихи — уйдетъ любовь,  
Любовь придетъ — стихи уходятъ.

У Толстого видимъ обратное. Искренно открывая намъ свою душу, истинно-поэтически смотря на жизнь, онъ не можетъ служить своей поэзіи, если не носить въ себѣ успокоительной гармоніи трехъ основныхъ мотивовъ, которые и созидаютъ его счастье: въ неразрывномъ сочетаніи ихъ онъ видитъ благо жизни, въ отсутствіи этого сочетанія—страданіе.

Но что же представляетъ изъ себя тотъ, у котораго не только нѣтъ этой гармоніи, но даже отсутствуютъ всѣ три ея элемента? Это безсознательная жизнь дикаря, грубаго, движимаго лишь животными инстинктами. Это князь Владимиръ—язычникъ, который живетъ «безпутно и лихо», безъ чистой любви, безъ опредѣленной религіи; который на предложеніе проповѣдника смириться, отвѣчаетъ: «Смирюсь! но только смирюсь безъ урону!»

И князь повѣщаетъ корсунцамъ: «Я здѣсь!  
Сдавайтесь! Прошу васъ смиренно;  
Не то — не взыщите — собью вашу спесь  
И городъ по камнямъ размыкаю весь:  
Креститься хочу непременно!»

Дикарь не понимает важности того великаго акта, на который склонилъ его христіанскій проповѣдникъ. Но вотъ, пріѣхала красавица царевна и зажгла въ дикарь первую искру чистой любви, покончила съ его безпутною жизнью и приготовила ему путь къ новой чистой вѣрѣ. Вѣра облагородила его, и въ немъ пробудилось эстетическое чувство природы. Князь уже не дикарь, но идеалистъ, поклонникъ милосердія и правды; онъ говорить своей дружинѣ:

Дни правды дороже воинственныхъ дней!  
Гребите же, други, гребите сильнѣй,  
На весла дружитѣй напирайте!

Такова идея былины о князѣ Владимирѣ.

Други! не вѣрьте! Все та же единая  
Сила насъ манить къ себѣ неизвѣстная,  
Правда все та же. Средь мрака ненастнаго  
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,  
Дружно гребите во имя прекраснаго  
Противъ теченія.

Такъ въ другомъ стихотвореніи исповѣдуетъ Толстой свою поэтическую вѣру. Правда—вотъ конечная цѣль человѣческихъ стремленій; искусство—средство къ ея достиженію; свобода—вотъ лозунгъ истиннаго поэта.

Мы не будемъ касаться этого *tritum pertritum* въ вопросѣ о томъ, противъ какого теченія шелъ Толстой. Замѣтимъ только, что онъ не съ предвзятою мыслию шелъ противъ какого-либо теченія, а единственно во имя свободы поэтическаго творчества, той свободы, за которую стоялъ и его великій учитель Пушкинъ. Толстой объяснялъ раздоръ въ пониманіи сущности жизни разными взглядами на нее, картинно выраженными имъ въ стихотвореніи «Правда», гдѣ семь братьевъ хотѣли посмотрѣть, «какова она, правда, на свѣтѣ живетъ?»

И подѣхали къ правдѣ съ семи концовъ,  
И увидѣли правду съ семи сторонъ...  
А вернувшись на свою родину,  
Всякъ рассказывалъ правду по-своему...  
И поспорили братья промежъ собой,  
И братъ брата звалъ обманщикомъ,  
И рубили другъ друга до смерти...  
И доселѣ ихъ внуки рубятся,  
Всѣ рубятся за правду, за истину,  
На великое себѣ разореніе.



Толстой видѣлъ «Правду» свою въ религіи, въ чистой любви и въ искусствѣ во имя прекраснаго и крѣпко вѣрилъ въ неизбежную вѣчность: «Мы съ вами,—писалъ онъ Полонскому,—не послѣдніе могиканы искусства; оно не умретъ и не можетъ умереть, какъ бы тамъ ни старались... кто прямо, кто косвенно. Убить искусство такъ же легко, какъ отнять дыханіе у человѣка подъ тѣмъ предлогомъ, что оно роскошь и отнимаетъ время даромъ, не вертитъ мельничныхъ колесъ и не раздуваетъ мѣховъ. Увѣряю васъ, что эти господа вовсе не страшны для искусства».

Кто же эти «господа», о которыхъ говоритъ поэтъ? Конечно, критики противоположныхъ ему воззрѣній. Не посчастливилось Толстому на критиковъ. Тѣ, которые стояли за него, расточали ему безмѣрные похвалы, въ то же время извинялись передъ крайними піетистами въ томъ, что поэтъ осмѣлился взять сюжетъ изъ Четьихъ-Миней. Ужъ не боялись ли они обвиненій его въ ереси... Критики другой стороны доходили до крайней безцеремонности, называя его поэзію «поэтическимъ разгильдяйствомъ», а самого его «нѣжною гусеницей, бережно окутанной въ вату». Одинъ критикъ, отрицая всякое достоинство въ поэзіи Толстого, причину этого видитъ въ отсутствіи «ссоръ и потасовокъ» въ дѣтствѣ нашего поэта; его поэзію, возросшую безъ «ссоръ и потасовокъ», онъ называетъ «галантерейною» и изъясняетъ готовность ея «послѣ сытнаго обѣда усладить свой досугъ, на ряду съ лучшими конфетами изъ модной кондитерской».

Впрочемъ, этотъ критикъ и поэзію Жуковского находитъ подобною «паточнымъ грошевымъ леденцамъ изъ мелочной лавки», а про Пушкина выражается, что тотъ «корчилъ изъ себя то Шенье, то Байрона, то Гёте».

Не знаемъ, съ какой стороны подобные критики подѣзжали къ правдѣ-истинѣ, но Толстой видѣлъ ее по указанію Пушкина и служилъ своему искусству честно и неизмѣнно, живо сострадавъ мягкою душой и гонимому святому искусству и людямъ—близкимъ и далекимъ—въ ихъ горестяхъ и бѣдствіяхъ. Муза его не была «музой мести», но часто бывала «музой печали». Не говоримъ уже о печали личной; нашъ поэтъ отзывался и на внѣшнія мрачныя явленія жизни. Таковы многочисленныя его произведенія, гдѣ онъ касается славянскаго вопроса, и особенно вопроса о судьбахъ своей родины. Русская исторія, такъ часто служившая сюжетомъ

его произведений, заставляла его приходить къ скорбному взгляду на минувшее нашего отечества. Мрачное время Грознаго и Смутной эпохи ярко очерчено имъ и въ романѣ, и въ драмахъ, и въ балладахъ. Горе родины было близко ему и въ прошедшемъ («Тугаринъ», «Чужое горе») и въ настоящемъ («Богатырь»). Тяжелыя явленія современности нашли также отзвукъ въ его поэзіи. Таково одно изъ позднѣйшихъ его стихотвореній:

Спускается солнце за стени,  
Вдали золотится ковыль,  
Колодниковъ звонкія цѣпи  
Взметають дорожную пыль.  
Идутъ они съ бритыми лбами,  
Шагають впередъ тяжело,  
Угрюмыя сдвинуты брови,  
Раздумье на лица легло...  
Поютъ про свободныя стени,  
Про дикую волю поютъ,—  
День меркнетъ все болѣ,—а цѣпи  
Дорогу метутъ да метутъ.

Такія картины, между прочимъ, рисовались нашему поэту въ послѣднее время его жизни. Болѣзнь посѣтила его, и передъ смертью задумался онъ надъ пройденнымъ жизненнымъ путемъ своимъ:

Всему насталь покой. Прими жъ его и ты,  
Пѣвецъ, державшій стягъ во имя красоты!  
Провѣрь, усердно ли ея святое сѣмя  
Ты въ борозды бросалъ, оставленные всѣми?  
По совѣсти ль тобою задача рѣшена?  
И жатва дней твоихъ — обильна иль скудна?

Какъ взглянетъ будущее на жатву нашего поэта — мы не знаемъ. Но теперь чистый образъ его и его чистой поэзіи ясно стоитъ передъ нами, и ея свѣточъ озаряетъ лучшія стремленія нашего духа.

Л. Бѣльскій.



«Князь Серебряный», историч. романъ гр. Толстого \*).

Историческій романъ—рѣдкость въ нашей новой литературѣ, больше рѣдкость, нежели историческія картины на нашихъ художественныхъ выставкахъ. Искусство обратилось къ жанру; литература разрабатываетъ насущное. Мы имѣли случай замѣтить, что этимъ она готовится для будущаго картины общества своего времени. Причины, почему она занялась настоящимъ и его съ виду мелкими интересами, были объяснены не разъ. Въ этихъ причинахъ много жажды общаго блага, вполне человѣческаго сочувствія къ страданію, вполне честнаго негодованія на неправду. Литература съ такимъ направленіемъ имѣетъ право называться общественнымъ дѣломъ.

Одинъ разъ навсегда мы оговорились отъ обвиненій въ пристрастіи къ теоріи «искусства для искусства»; но сильно стоимъ за тщательную и, по возможности, изящную отдѣлку предметовъ, какіе бы они ни были. Что эти предметы должны быть крѣпко обдуманы, обстоятельно выбраны и выказаны; что идея представляемаго должна быть пряма, выражена безъ парадоксовъ и доказана,—полагаемъ, это—долгъ, извѣстный всякому пишущему. Но какъ онъ исполняется и исполняется ли? Большинство нашихъ новыхъ писателей доходитъ до совершеннаго, произвольнаго забвенія законовъ изящнаго, отговариваясь тѣмъ, что «дѣло важнѣе искусства». Такъ; но всему есть мѣра. Отдавая должную справедливость общему благородству направленія и нѣкоторымъ дарованіямъ, выдающимся изъ массы новыхъ писателей, мы рѣшаемся сказать мысль, которая все усиливается въ обществѣ по мѣрѣ того, какъ число пишущихъ увеличивается: «такъ» писать—очень легко, «такъ» служить общественному дѣлу—очень легко.

\*) «Отечественныя Записки», 1863 г., № 2.

Списки съ натуры, часто даже не перечувствованные какъ должно (на это чутко сердце читателя), не стойвшіе минуты обдумыванія—такъ бѣдно ихъ содержаніе, такъ небрежна ихъ отдѣлка, такъ забыты даже ихъ собственные, болѣе занимательныя стороны,—неужели это можетъ называться трудомъ и общественнымъ дѣломъ? Г. Плещеевъ напишетъ свои «Житейскія сцены», а Щедринъ еще разъ вынесетъ соръ изъ своего города Глухова—и дурной примѣръ «именъ» поданъ: выметается соръ, пишутся сцены. А отчего такъ охотно и такъ скоро усвоенъ этотъ примѣръ? Оттого, что для подобныхъ «житейскихъ» и прочихъ сценъ не нужно никакого изученія, никакого знанія. Отсутствие того и другого прикрывается отговоркой, что «дѣло важнѣе искусства».

Оттого у насъ нѣтъ и, кажется, судя по ходу вещей, долго еще не будетъ историческаго романа. За нимъ хлопотъ много: рыться въ старѣхъ, читать источники, учиться вновь, вдумываться въ наше прошедшее, сводить въ одинъ узелъ до сихъ поръ еще разрозненныя нити его, то-есть и вправду «работать». Къ тому же, покуда писатели угощаютъ публику «Житейскими сценами»; она выдумала сама читать источники и учиться; она, зѣвая, забудетъ сто тысячъ первый и не послѣдній разсказъ о пошлостяхъ или низостяхъ, которыя видитъ повѣрнѣе и поближе, живыя, кругомъ себя, но непремѣнно оглянется на слово болѣе изящное и послушаетъ, такъ ли оно сказано.

Сказать такое слово трудно. Дарованія, избаловавшіеся на легкой работѣ, должны сдѣлать надъ собою большое усиліе, чтобъ отъ будничныхъ мелочей обратиться къ строгимъ и широкимъ образамъ исторіи, отъ впечатлѣній, по привычкѣ часто едва скользящихъ по душѣ, перейти къ полному усвоенію жизни прошедшаго, отъ занятія, которому иногда отдавался только лишній часъ, погрузиться въ трудъ, поглощающій все время; нужно большое усиліе, чтобы переломить себя и послѣ записыванія пестроты, мелькающей передъ глазами, праздныхъ рѣчей, носящихся въ воздухѣ, разбудить свой умъ на работу, а воображеніе на созданіе. Даже для сильныхъ дарованій это трудно; для большинства пишущихъ это невозможно. Трудности и невозможности этой придумана отговорка: «Настоящее нужнѣе прошедшаго; прошедшее отжило, настоящее полно значенія; историческій



809  
Р. 35  
романъ — забавляющая сказка; современная повѣсть — необходимая правда...» Если это мнѣніе и не высказывается, то его существованіе очевидно изъ безчисленнаго множества современныхъ повѣстей; но въ строгомъ смыслѣ слова назвать современную повѣсть «необходимою правдой» имѣютъ право немногіе изъ новыхъ писателей — тѣ, чьи произведенія останутся для будущаго картиной общества; современные повѣсти большинства — то дѣтскій лепетъ то шаржъ, и ни литература, ни общество, ни будущее ничего не потеряли бы, если бъ ихъ не было.

Историческій романъ — такая же необходимая правда о прошедшемъ, безъ котораго непонятны явленія настоящаго. Онъ не научить исторіи, но объяснить ее образами. Это — полное отраженіе прошедшей жизни, но болѣе сжатое, чѣмъ на страницахъ исторіи, и потому болѣе яркое, сильнѣе дѣйствующее на чувство и потому болѣе доступное понятію. Для читателя знающаго это — сводъ впечатлѣній знанія; для массы читателей это — подготовка къ принятію знанія, и масса съ жадностью на него бросается. То, въ чемъ чувствуется потребность, необходимо, полезно, законно, должно быть; а въ обществѣ наклонность къ историческому роману, его потребность очевидны: въ послѣдніе мѣсяцы онъ доказались на романѣ графа А. Толстого Князь Серебряный. Его читали всѣ сословія, всѣ возрасты, и не потому только, что «повѣсть временъ Іоанна Грознаго» въ наше время — разнообразіе отъ «Недавнихъ комедій», «Верзилиныхъ» и т. п. Читали изъ желанія знать, думать, научиться, обновить въ памяти далекое для уразумѣнія близкаго. Противъ фактовъ спорить нельзя: число читателей Князя Серебрянаго — доказательство, что задачи историческаго романа всѣхъ интересуютъ. Народъ началъ новую жизнь, — покажите ему старую; вотъ еще одна изъ причинъ любопытства и вполне понятная. Дѣло новыхъ историческихъ романистовъ — угадать эту жизнь, вызвать и воплотить ее въ образы.

Но гдѣ наши историческіе романисты? Скоро ли мы дождемся и дождемся ли когда-нибудь, чтобы таланты освѣтили намъ темноту, гдѣ началась наша жизнь, ту загадочную темноту, въ которую мы смотримъ упорно?..

Графъ А. Толстой, не думая долго о трудностяхъ, попытался это сдѣлать. Прислушался ли онъ къ потребности

читателей, или самъ, какъ художникъ, чувствовалъ потребность погрузиться въ увлекающій трудъ и воскресить предъ собою образы минувшаго?

Въ первомъ случаѣ его цѣль достигнута. Его романъ читается, удовлетворяетъ любопытству массы, волнуетъ ея воображеніе, даже нѣсколько учитъ ее. Ей былъ нуженъ историческій романъ — вотъ онъ. Она довольствуется, потому что не имѣла его со временъ Загоскина и Лажечникова. Для массы авторъ, выражаясь его словами, «воскресилъ наглядно фizioномію очерченной имъ эпохи и можетъ не сожалѣть о своемъ трудѣ».

Но для самого себя — дѣло другое. Писатель, кончая свой трудъ, дѣлается его первымъ судьей. Сколько бы ни была дорога собственная работа, у автора остается его вкусъ — тотъ вкусъ, который указываетъ промахи чужихъ работъ, тотъ вкусъ, который «обязываетъ». Онъ залегаетъ въ душу и тревожить. Борясь съ привязанностью къ «собственности», онъ не выясняется, не выражается рѣшительно и, конечно, не побуждаетъ автора наложить истребительную руку на произведеніе; но онъ живъ и наводитъ сомнѣнія. Впослѣдствіи, когда трудъ преданъ печати, когда автора отуманило увлеченіе любопытной массы, успокоительно убѣдили похвалы друзей, бросили въ крайнее мнѣніе осужденія противниковъ, авторъ утрачиваетъ эту способность холоднаго суда; но было бы въ высшей степени интересно и полезно, если бы кто-нибудь изъ тѣхъ писателей, которымъ нелегко достаются ихъ работы, записалъ тутъ же, надъ только что оконченною тетрадью, свои первыя критическія размышленія о ней, свои первыя сомнѣнія и недовольства. Ихъ не бываетъ только у бездарности.

Для самого автора ошибки и недосмотры примѣтнѣе въ историческомъ романѣ, нежели въ романѣ, основанномъ исключительно на чувствѣ или идеѣ. Чувствуетъ и думаетъ всякій по-своему, и всякій считаетъ свое чувство и мысль непреложными; часто въ это замѣшивается и личный характеръ автора. Но авторъ историческаго изображенія не долженъ класть въ него своего личнаго чувства, своей предвзятой мысли; онъ живетъ въ прошломъ, совершившемся, и властенъ, оглядываясь, дѣлаться его постороннимъ зрителемъ каждую минуту. Если это возможно для автора въ самое время труда, то еще легче при окончаніи.



Оглядываясь во время своей десятилѣтней работы, или раздумавшись надъ ея послѣдними строками, графъ А. Толстой, конечно, спросилъ себя, точно ли это—«изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія?»

Источники, которыми руководился авторъ «Князя Серебрянаго» — IX томъ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина и «Примѣчанія» къ нему. Руководство болѣе нежели очевидное. Романъ не «написанъ» по Карамзину, но вперемежку съ описаніями, или переложенный въ діалоги, буквально выписанъ изъ Карамзина. Въ немъ нѣтъ не только ничего больше того, что есть въ IX томѣ «Исторіи», но еще недостаетъ очень многого; убѣдиться легко, перелиставъ первыя главы этого тома. Разсказъ Карамзина очень коротокъ; «Примѣчанія» хотя и пространнѣе, даютъ едва по одному слову подробностей; но эти слова полны значенія для желающихъ вникнуть: за ними—жизнь и ряды характеровъ, о которыхъ въ новомъ романѣ нѣтъ и помина.

Будемъ же сличать «Исторію» Карамзина и романъ графа Толстого.

Въ предисловіи авторъ оговаривается противъ анахронизмовъ, считая ихъ неважными, если «они въ тонѣ и духѣ эпохи и не въ связи съ историческими событіями». Съ этимъ можно согласиться; но авторъ долженъ согласиться тоже, что бываютъ анахронизмы неоправдываемые, и его анахронизмы именно изъ такихъ. Пятью годами раньше или позднѣе переказнилъ лишнюю сотню человѣкъ Иванъ Грозный, это все равно для романиста, который переписываетъ только событія, но это не все равно для романиста, который искалъ бы, почему, отчего, влѣдствіе какой нравственной причины Иванъ Грозный сдѣлался способенъ переказнить лишнюю сотню человѣкъ. Московскія казни 1570 года, когда погибли Вяземскій и Басмановы, были «отданіемъ» новгородскихъ кровавыхъ праздниковъ, продолженіемъ горячки убійства, которую зажгли обличенія митрополитовъ Германа и Филиппа, подозрѣнія на бояръ, благородное оправданіе Ѳедорова, Бѣльскаго, Мстиславскаго и Воротынскаго, обвиненныхъ въ измѣнѣ и погибшихъ за то, что оправдались. Авторъ «Князя Серебрянаго» спутываетъ все это время: у него Колычевы, родственники «низложеннаго» митрополита Филиппа, въ 1565 г. си-

дять уже въ тюрьмѣ, тогда какъ Филиппъ только въ 1566 г. «поставленъ» митрополитомъ. Филиппъ—лицо слишкомъ замѣчательное, благороднѣйшее въ этой темной исторіи, и анахронизмъ о немъ—очень «въ связи съ событіями». Нельзя забыть, что Грозный какъ-будто самъ себя развязалъ руки, сказавъ Филиппу: «Монахъ, я до сихъ поръ щадилъ васъ, а теперь буду такимъ, какимъ вы меня называете». Это сказано въ 1568. До тѣхъ поръ онъ еще будто совѣстился; съ низложеніемъ Филиппа началось истребленіе городовъ... Иванъ Грозный 1565 г.—не Иванъ Грозный 1570. Онъ еще не потѣшился въ коломенскихъ селахъ Ѳедорова, убивая даже скотъ; женщины еще не умирали отъ стыда послѣ его оргій; его еще не проклинали въ глаза служанки княгини Евдокіи; митрополитъ еще не грозилъ ему съ амвона. Иванъ 1565 г.—только въ началѣ своей опричины, и хотя успѣлъ потѣшиться, но еще не до такой степени, чтобы чувствовать себя внѣ всякаго милосердія своихъ подданныхъ и потихоньку просить пріюта у Елизаветы англійской... Стало-быть, смѣшать событія 1565 и 1570 гг.—анахронизмъ очень важный, неизвинительный для романиста, слѣдящаго за нравственною стороною своего главнаго лица, за развитіемъ его характера вслѣдствіе событій, и казнить столько-то, тогда-то или тогда-то—не все равно.

1565 годъ хотя уже не начало «чуждой бури», какъ лѣтописи называютъ перерожденіе Грознаго, но и не самая сильная его минута. Это—годъ ея второго взрыва, созданія опричины. Дикой волѣ, которая рубить всякую ненагнутую голову, страшно всего честнаго и оскорбленнаго; ей стыдно всего, что косо глядитъ на ея развратъ; ей ненавистно всякое превосходство, а оно чувствуется ею, осуждаетъ ее, даже молча и умирая. Надо куда-нибудь подальше, съ глазъ долой: Грозный выдумываетъ Александровскую слободу. Его преслѣдуютъ не видѣнія, — старая уловка для человѣка, ругающагося надъ вѣрою поруганіемъ ея представителей, надъ будущимъ возмездіемъ столбцами своихъ синодиковъ,—старая уловка для «взрослаго», поставившаго первою виной Адашева и Сильвестра рассказы о вѣчной жизни, которыми «они запугивали его какъ младенца». На него находятъ ночные страхи—слѣдствіе сильнаго возбужденія нервовъ; нервы Ивана Грознаго гораздо интереснѣе его видѣній. Его преслѣдуетъ мысль, что, какъ бы далеко онъ ни ушелъ, гдѣ бы ни

скрылся, онъ, царь, все въ виду у народа. Его преслѣдуетъ неотвязная преданность, колебимая ни заточеніемъ ни муками; преданность, которой онъ чувствуетъ себя недостойнымъ и которую зато сильнѣе ненавидитъ. Онъ обидѣлъ, его простили — онъ мститъ за прощеніе. Въ 1565, при началѣ опричины, онъ еще не дошелъ до того опьянѣнія убійствомъ, отъ котораго вопить гласомъ велимъ за обѣдомъ новгородскаго архіепископа, до той нѣги мучительства, которая вдохновляетъ его изобрѣтать казни. Онъ избавился отъ докучныхъ совѣтниковъ и поминаетъ ихъ обоихъ вмѣстѣ уставомъ «братіи» въ Александровской слободѣ; тутъ отдаленная насмѣшка и надъ чиномъ попа Сильвестра и надъ чистотой Адашева, надъ всѣмъ, что онъ хорошо помнитъ, уважаетъ и потому ненавидитъ. Но онъ «наставленъ въ вѣрѣ»; онъ знаетъ, что онъ — помазанникъ, и шутовское игуменство вдругъ кажется ему священнымъ. Онъ возложилъ на себя санъ и самъ для себя еще освятился. Съ минуты, когда онъ созналъ это, онъ самъ благословляетъ всѣ свои дѣла и велѣнія: они были непреложны — теперь стали безгрѣшны. Это становится его помѣшательствомъ. Духовенство; прежняго разрѣшителя своей совѣсти, онъ считаетъ уже властью равною себѣ, даже меньшею, какъ подданныхъ; оттого такъ и поражаетъ его въ послѣдствіи святая дерзновенность митрополита Филиппа. Въ 1565 уже началось это помѣшательство. Грозный наколачиваетъ себѣ лобъ земными поклонами; но это — обрядъ. Нельзя забывать огромнаго значенія обряда; въ немъ заключалось все. Грозный могъ тысячу разъ называть себя «окаяннымъ и сквернымъ»: въ этихъ словахъ не было ни покаянія, ни искренняго сознанія, ни смиренія; произнося ихъ, онъ могъ даже не вникать въ ихъ смыслъ; это были самообвиненія и самопроклятія, затверженныя отъ повторенія всякій день и вошедшія въ привычку. Если ужъ объяснять какъ-нибудь молитвы Грознаго, то вѣрнѣе сказать, что это — молитвы отчаянія отъ сознаваемой пустоты и ужаса кругомъ, порывы къ лучшему, которое стало ему тяжело, которое онъ отвергъ и потому возненавидѣлъ; это — молитвы нервическія, когда тѣло требуетъ боли для утоленія скорби духа... Онъ молится не «о тишинѣ царства и искорененіи измѣны», какъ говорить въ своемъ романѣ гр. А. Толстой; Грозный знаетъ, что среди тишины и мира растетъ гражданская доблесть, пе-



редь правосудіемъ становится невозможною измѣна; и знаетъ, что это — въ его рукахъ: стоить ему быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ когда-то. Но онъ не хочетъ быть такимъ, не хочетъ стѣсняться, и молится единственно за себя. Онъ хочетъ быть одинъ выше всѣхъ, не для блага кого бы то ни было, а для простора, для безопасности собственнаго произвола. Не бояре тяжки ему: ему тяжело всякое превосходство. Онъ укоряетъ Курбскаго его слугою Шибановымъ; но нѣтъ имени той ненависти, которую онъ чувствуетъ къ этому холопу, когда, пригвожденный къ землѣ его палкой, тотъ стоитъ передъ нимъ и молча смотритъ ему въ глаза. Если въ своихъ грамотахъ, въ рѣчахъ къ иностранцамъ, въ нѣкоторыхъ выходкахъ неожиданной милости или справедливости Иванъ Грозный какъ-будто отступаетъ отъ своего характера, это — умышленно, это — настроеніе минуты, это — игра нервовъ или притворство. Онъ всегда знаетъ, что неправъ, хотя бы и оправдывался, какъ въ письмахъ къ Курбскому; онъ всегда готовъ задушить монаха, хотя бы и сто разъ преклонялъ передъ нимъ свою «смердную главу». Ему случается и забываться, входя въ роль, которую онъ играетъ изъ приличія или изъ прихоти, примѣривъ вдругъ на себя пышность величія и благодати царскаго сана, — но забывается Грозный ненадолго. Онъ скоро опять становится самымъ собою и хуже въ отомщеніе, что на него порадовались, что осмѣлились подумать: зачѣмъ не всегда онъ таковъ? Эту думу онъ чувствуетъ. Онъ доставляетъ себѣ наслажденіе насмѣшки надъ честными людьми, которые, глядя на притворство, можетъ-быть, понадѣялись, что это — искреннее исправленіе; съ полнѣйшимъ презрѣніемъ онъ разочаровываетъ ихъ, отнимая у ненавистнаго живучаго превосходства послѣднее — надежду.

Его синодики — далеко не сознаніе въ неправдѣ, далеко не покаяніе. Это опять — обрядъ. Иванъ Васильевичъ въ обрядахъ выросъ и воспитанъ; обрядъ — его спасеніе, его нравственная поддержка. Обряды — въ духѣ времени: ихъ не объясняютъ, имъ слѣдуютъ, ими довольствуются. Сказано, что на столько-то гривенъ или рублей покупается столько-то времени молитвъ — такъ и дѣлается. Смысла этого не разбираетъ никто. Обители, куда поступаетъ царскій вкладъ, сами не въ состояніи разобрать этого смысла. Святыя отцы молчатъ, кто — ради богатства царскаго вклада,

кто—ради царскаго страха, кто—смиренно принимая милостыню и съ нею право молиться за жертвы, о которыхъ не смѣть жалѣть громко... «Я забылъ имя убитаго младенца,—говорить Курбскій объ одномъ изъ сыновей князя Владимира Андреевича,—но оно записано въ книгѣ живота». Не всё, какъ Курбскій, смѣли и могли выражать громко свое горе и негодованіе; для многихъ было отрадою дозволеніе хотя въ заупокойныхъ поминаніяхъ называть знакомыя, можетъ-быть, дорогія имена...

Покупая молитвы, Грозный какъ-будто узаконивалъ казнь своихъ жертвъ: свершивъ праведный судъ, онъ, царь, творилъ надъ виновными посмертную милость—доставлялъ имъ ходатайство церкви. Тѣмъ меньше раскаянія и угрызений совѣсти: «христіанскій долгъ» исполненъ; совѣсть очищена. Этотъ человѣкъ откинулъ младенческое суевѣріе ужасовъ, которымъ Сильвестръ обращалъ его на путь истинный, но сохранилъ суевѣріе земныхъ поклоновъ и вкладовъ—мелкое, расчетливое, обрядовое, бессмысленное суевѣріе, съ которымъ удобно живетъ. Потому и ненавистенъ ему Филиппъ, что онъ видитъ въ немъ мыслящую гражданственную вѣру, дѣятельную и незакупную... Гр. А. Толстой, разъясняя угрызения совѣсти Грознаго, говоритъ, что «не всегда въ этомъ расположеніи онъ былъ склоненъ на милосердіе», что онъ «приписывалъ угрызения свои навожденію сатаны, старающагося отвлечь его отъ преслѣдованія измѣнны, и тогда, вмѣсто того чтобы смягчить свое сердце, онъ, назло дьяволу творя молитвы и крестныя знаменія, предавался еще большей жестокости». Не назло дьяволу, а назло всему окружающему, назло ненавистному превосходству, назло самому себѣ и пробудившемуся въ себѣ человѣческому чувству, для новой нервной боли, чтобы заглушить старую, по пословицѣ «клинь клиномъ», бросался Грозный на новыя жестокости. Онъ нигдѣ не видалъ измѣнны; онъ былъ достаточно проницателенъ и уменъ, достаточно зналъ насквозь низость и несостоятельность своихъ доносчиковъ, для того чтобы имъ вѣрить; онъ говорилъ, что караетъ измѣнну, потому что надо было говорить что-нибудь. Онъ зналъ, что никто не умышляетъ на его царское здоровье, такъ же, какъ зналъ, что «Алексѣй и попъ» не отравляли его жены; но ему былъ нуженъ предлогъ уничтоженія, и онъ бралъ, какой встрѣчался. У него оставался нервный страхъ, очень натурально принимающій

образы «страшилъ», натолкованныхъ съ дѣтства—но не болѣе; никакого дьявола не боялся царь Иванъ Васильевичъ. Иванъ Васильевичъ—широкая натура, изъ богатырскихъ, изъ сказочныхъ, изъ тѣхъ, чтó обманываютъ чорта.

Таковъ онъ, въ особенности, въ началѣ своихъ потѣхъ, въ ихъ первые годы, когда кровавая горячка только высушила его волосы, но еще не совсѣмъ сломила его физически, когда нервныя страхи еще не перешли въ сознательный страхъ. У Грознаго въ 1565 г. есть еще люди, воеводы и бояре, которые—онъ знаетъ—ему не измѣнять. Они стоятъ за него въ Польшѣ, дерутся въ Литвѣ, дерутся съ крымцами. Это—тѣ люди, съ мыслью о которыхъ гр. Толстой приводитъ свой эпиграфъ изъ Тацита:

«Такое рабское терпѣніе и такое множество крови, пролитой внутри отечества, утомляютъ духъ и стѣсняютъ его горестью; одного прошу у читателя: дозволить мнѣ не ненавидѣть людей, такъ безславно погибавшихъ».

Римлянинъ перваго вѣка могъ и долженъ былъ просить подобнаго позволенія у своихъ читателей: ихъ понятія были, конечно, не понятія русскаго «общества временъ Грознаго». Въ императорскомъ, въ нероновомъ Римѣ говорили «*res publica*», «*res publica*»; охотно или неохотно, но самыя почести воздавались императорамъ по декретамъ сената; могло быть принужденіе, но существовало право. У такого общества было необходимо просить извиненія за тѣхъ, кто погибалъ, не подавая голоса... Но «ненавидѣть» людей временъ Грознаго и удивляться, что «могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія»—несправедливо и напрасно. Не нужно забывать «начала», которымъ было проникнуто это «общество», «начала», которое вырабатывалось съ объединенія Руси послѣ татарскаго погрома и въ которое народъ вѣровалъ. Въ лицѣ Іоанна Васильевича русскій человѣкъ видѣлъ не человѣка, но царя. «Простимъ грѣшной тѣни царя Іоанна,—говоритъ великодушно гр. Толстой,—ибо не онъ одинъ несетъ отвѣтственность за свое царствованіе; не онъ одинъ создалъ свой произволъ и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай. Эти возмутительныя явленія были подготовлены предыдущими временами, и народъ, упавшій такъ низко, что могъ смотрѣть на нихъ безъ негодованія, самъ создалъ и усовершенствовалъ Іоанна подобно тому, какъ раболѣпные



римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ...» «Работѣльнымъ» римлянамъ нѣтъ извиненія: у нихъ были свѣжія преданія и примѣры свободы, и не существовало даже идеи непреложности какой бы то ни было власти; диктаторы и триумвиры поднимались у нихъ и исчезали, и никто не воображалъ, что съ ними все кончается; Сулла ушелъ изъ Рима, и никто не звалъ его воротиться. Русь — другое дѣло. Она помнила свою татарщину и съ ней — угнетеніе, униженіе, разъединеніе ради личной безопасности каждого; по «началу», занесенному изъ Византіи, подкрѣпляемому текстами писанія (этого единственнаго наставника и помощника въ скорбяхъ), она возлагала все упованія на своихъ князей; она возводила ихъ въ святые; она и пошла въ Александровскую слободу кланяться царю Ивану Васильевичу, чтобы сотворилъ милость, воротился... Много боярскихъ головъ скатилось, прежде чѣмъ началась рѣзня народа въ Торжкѣ, Коломнѣ, Городнѣ, до Новгорода и Москвы. Но какъ же возможно предполагать, чтобы несправедливости, угнетенія, наконецъ, звѣрство и рѣзня принимались покорно, пассивно, безъ ропота, даже «безъ негодованія»? Рѣшать такъ — значитъ не признавать людей за людей. Народъ и бояре были не безмысленное стадо. Исторія называетъ многихъ, возвышавшихъ голосъ. Это — не «рѣдкія свѣтлыя звѣзды на безотрадномъ небѣ нашей русской ночи», какъ говоритъ гр. А. Толстой, назвавъ два блѣднѣйшихъ лица своего романа (вымышленныя), а за ними Василія Блаженнаго, и забывая, что по понятіямъ, существующимъ на Руси и донинѣ, юродивый святъ, а потому ничѣмъ не рискуетъ... Не далѣе какъ по Карамзину можно назвать десятки именъ, заслуживающихъ сочувствія и уваженія. Объ этихъ людяхъ мало сказать: «Миръ праху вашему! вы платили дань вѣку», и прочее, какъ говоритъ гр. А. Толстой, чувствительно прощая грѣшной тѣни царя Іоанна и обвиняя несчастный народъ, что онъ безтолково, работѣнно, низко создалъ себѣ своего губителя... Все виновато «время», все виновато «среда»! но когда же будутъ виноваты люди — центры среды, руководители времени? «Время» Грознаго вѣрило въ царя, «среда» была безоружна; безспорно, это — просторъ для произвола. Но самъ-то Грозный, съ его умомъ, могъ бы оглядываться на то, что дѣлалъ; онъ понималъ, что дѣлаетъ; онъ былъ и развитѣе, и образованнѣе, и выше своей среды; чѣмъ же

виновата она, что онъ не хотѣлъ понимать своей обязанности такъ, какъ ее народъ понималъ? Страдальцы обвиняются въ томъ, что «усовершенствовали» злодѣя!.. Только о малыхъ ребятахъ можно говорить, что они балуются потому, что ихъ старшіе балуютъ. Объясняя все сплошь «вліяніемъ духа времени и среды», можно дойти до совершеннаго обезцвѣтенія, уничтоженія личностей; и тогда, очень натурально, является вопросъ: изъ кого же сложилась среда, откуда же явился духъ? Не справедливѣе ли, вмѣсто того, чтобы увѣрять, будто Грозный баловался, или, пожалуй, «совершенствовался» отъ низкаго народнаго упадка,—разобрать, не просачивалась ли ѣдкими каплями порча отъ высокаго царскаго престола слоями ниже и ниже, на головы народа?..

Трудно принять объясненіе гр. А. Толстого и о слабости отпора Грозному. «Лица, подобныя Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному,—говоритъ онъ,—были безсильны, потому что не были сплочены, ни поддерживаемы общественнымъ мнѣніемъ». Что это за фраза изъ «Journal de Débats»!

Мы должны остановиться здѣсь и напомнить, что говоримъ о новомъ романѣ не съ точки зрѣнія довольной имъ массы, которая нашла въ немъ и отдыхъ отъ «современныхъ» анекдотовъ, и забытую или незнакомую исторію, и эффекты, до которыхъ охотница. Мы высказываемъ мнѣніе читателей, читавшихъ многое и потому разборчивыхъ; мы стараемся (какъ сказали) угадать мнѣніе самого писателя-художника, сдѣлавшагося критикомъ своего произведенія.

У романистовъ бываютъ свои пріемы, «манера». Ее создаютъ таланты, и ей, по порядку вещей, слѣдуютъ подражатели—далеко не новая истина. Образцомъ пріемовъ для историческаго романа долго былъ Вальтеръ-Скоттъ и, какъ образецъ превосходный, если и не создавалъ талантовъ, зато развивалъ въ своихъ подражателяхъ вкусъ и художественный тактъ. Самыя посредственныя вещи, написанныя подъ его вліяніемъ, изящны и тщательно отдѣланы. Задавалъ ли онъ себѣ задачу «изобразить общій характеръ цѣлой эпохи и воспроизвести понятія, вѣрованія, нравы и степень образованности» такого или такого столѣтія, то у него и являлось это изображеніе и воспроизведеніе. Почему? Вмѣсто обыкновеннаго отвѣта, что это — «тайна художника», кажется можно привести объясненіе: Вальтеръ-Скоттъ не переписывалъ исто-

ри, онъ переживалъ ее. За словами лѣтописи онъ слышалъ голоса прошлой жизни; за коротко рассказаннымъ фактомъ видѣлъ все, что его подготовило; по намеку отгадывалъ характеры; онъ искалъ — и потому находилъ; онъ работалъ — потому и его подражатели должны были работать.

Это было давно. Во французской литературѣ пришла мода на романъ-фельетонъ, потребность возбужденія любопытства на всякій день и вслѣдствіе того необходимость эффектовъ для поддержки этого возбужденія. Отъ подобнаго ремесла отказались два таланта, уважавшіе свое призваніе — Бальзакъ и Жоржъ-Зандъ; они оставили поле Е. Сю и А. Дюма. Послѣдній съ свойственной ему ловкостью скоро догадался, что изобрѣтательности человеческой не станетъ на всякій день сказки, и перенесъ въ свой романъ-фельетонъ исторію, какъ неисчерпаемый источникъ приключеній, избавляющій отъ затрудненій выдумки. О трудѣ переживать исторію онъ, конечно, не думалъ; онъ сталъ переписывать. Одинъ ли А. Дюма дѣлалъ свои романы, или въ компаніи, разбирать не стоить; но, переписавъ римскихъ историковъ въ «Актѣ», своихъ историковъ, лѣтописцевъ и составителей мемуаровъ въ «Изабеллѣ Баварской», «Діанахъ», «Мушкетерахъ», «Ожерельѣ королевы», евангеліе — въ «Лакведемѣ», онъ доказалъ, что историческій романъ можетъ писаться безъ всякаго помышленія о духѣ прошлаго, безъ всякой разработки характеровъ, можетъ писаться пестро, нарядно, эффектно и заставлять массу читателей задыхаться отъ волненія въ ожиданіи завтрашней главы.

Наше время и наша литература такъ стремятся быть серьезными, что у насъ, казалось бы, невозможно ожидать подобнаго явленія, а между тѣмъ — оно передъ нами. Это — «Князь Серебряный» графа А. Толстого. Онъ весь переписанъ изъ исторіи, и въ немъ — чего угодно: колдунъ, юродивый, татары, разбойники, исповѣди, соколиныя охоты, судъ Божій, нѣжныя свиданія, тихія кельи, застѣнки... все есть, только нѣтъ ни правовъ, ни обычаевъ, ни людей — не только XVI, никакого столѣтія. Это — сцены и герои фельетоннаго романа по манерѣ А. Дюма. Этотъ Иванъ Грозный, бояре, опричники, станичники и народъ приходятъ, уходятъ, повторяютъ одно и то же — и ни въ одномъ лицѣ незамѣтно никакой внутри совершающейся драмы. Читатель знаетъ, что отъ первой до послѣдней сцены Серебряный будетъ говорить о



своей вѣрности царю; Максимъ Скуратовъ будетъ плакаться о томъ, что опричникъ; Годуновъ будетъ очень нехитро лукавить; Морозовъ — степенно резонировать; Вяземскій метаться; Михеичъ непременно помянетъ свою «тѣтку-подкурятину», съ которою до смерти надоѣлъ. Это не люди, а мелкія пружинки, изъ которыхъ сцѣплена сказка, и каждая скрипитъ по-своему. Царь Иванъ — не больше ихъ человѣкъ. Это — нѣчто наряженное и посаженное на страхъ тому, кто на него оглянется. Читатель заранѣе увѣренъ, что ни одна сцена, гдѣ его показываютъ, добромъ не кончится: онъ — «злодѣй», и въ немъ непременно должно закипѣть сердце; онъ «подозрителенъ» и непременно кого-нибудь заподозритъ; онъ «хитеръ» и непременно съ кѣмъ-нибудь сыграетъ штуку. Такъ, вначалѣ, на пиру, онъ ни съ чего отравляетъ неизвѣстнаго боярина, а въ концѣ сватаетъ свою мамку оруженосцу Михеичу; никогда не скажетъ словечка проста и вообще неуклонно исправляетъ свою должность изверга... Въ предисловіи авторъ говоритъ, что «въ отношеніи къ ужасамъ оставался ниже исторіи» и «изъ уваженія къ искусству и нравственному чувству набрасывалъ на нихъ тѣнь». Между тѣмъ, ему, вѣроятно, показалось мало извѣстныхъ казненныхъ и онъ сочинилъ новое лицо — этого отравленнаго боярина, впрочемъ, «набросивъ на него тѣнь», потому что означилъ его только словомъ: «старый бояринъ» и окликнулъ: «Василій-су». Къ чему эта лишняя смерть?.. Правда, это написано такъ, что нисколько не жалко боярина, да и во всемъ романѣ никого не жалко. Не говоря уже о той высокой жалости, которая охватываетъ при чтеніи простой правды лѣтописей, о томъ изящномъ состраданіи, которое вызываетъ В.-Скоттъ — ни одна сцена ни одно положеніе новаго романа не затрагиваетъ никакого чувства. Между тѣмъ, масса читателей задыхается отъ ужаса, когда царь Иванъ Васильевичъ хватаетъ то ладанку Вяземскаго, то ладанку Басманова, то стучитъ желѣзомъ бѣземъ, то пронзаетъ жезломъ разбойника... Страшный царь! А когда изъ-подъ пола начинаютъ лѣзть мертвецы и кланяться ему, масса, цѣпенѣя, не вспоминаетъ, что жилъ-былъ король Ричардъ III, надъ сномъ котораго летали его жертвы. Это могъ бы вспомнить авторъ, какъ художникъ, обязанный знать свои образцы... Масса не налюбуется на задумчиваго опричника, который разрубаетъ медвѣдя, не пьетъ, не ѣстъ за царскимъ

столомъ, затягиваетъ пѣсни о золотой волюшкѣ, интересно исповѣдывается подъ щебетанье ласточекъ, сверкаетъ золотую саблей, не ночуетъ подъ кровлей, гдѣ клануть его отца, Скуратова, умираетъ, испивъ воды изъ дружнаго шелома... Какое разнообразіе красивѣйшихъ молодыхъ людей! Этотъ Басмановъ, напримѣръ, въ сценѣ съ Серебрянымъ, этотъ хамелеонъ доблести, безстыдства, удали, нѣги, низости, безопасности! И какой тонкій контрастъ характеровъ: «Давай,—говоритъ Басмановъ,—стрѣлять въ привязаннаго татарина». — «Нѣтъ,—говоритъ Серебряный,—я въ привязанныхъ не стрѣляю!..» А безнадежно любящій «второй» герой, которому, какъ вообще это дѣлается для «вторыхъ» героевъ, отпущена привлекательная, но мрачная наружность, дикій нравъ и злая судьбина—этотъ Вяземскій, сверкающій очами, бросающій золото горстями и шибко поминающій чорта! Мы увѣрены, на ближайшей художественной выставкѣ непременно будетъ его изображеніе: лунный свѣтъ; Вяземскій—кудри по вѣтру; кафтанъ непременно алый бархатный нараспашку; ноги сильно раздвинуты; корпусъ откинуть назадъ; взоръ безумный; одна рука въ сторону, другая еще простерта надъ вьющейся въ воздухъ отличнѣйшею муаръ-антикъ голубою лентой, которую страстный юноша только что бросилъ подъ колеса мельницы, въ жертву водяному. Мы увидимъ Вяземскаго, можетъ-быть, и въ иныхъ видахъ: онъ во всѣхъ обаятеленъ—является ли озаренный пожаромъ, съ переломленною саблей, въ бѣломъ атласѣ, по которому струится кровь, падаетъ ли въ обморокъ на поединкѣ. Одно несовсѣмъ грандіозно: пропадаетъ онъ ни за что—за ладанку съ лягушечьею косточкой. Волшебнo смѣшавъ 1565 съ 1570 годомъ, авторъ совсѣмъ оставилъ въ сторонѣ новгородскія казни, а московскія были ихъ слѣдствіемъ. У Грознаго въ Новгородѣ рука расходилась; пощада Пскова, гдѣ онъ только грабилъ, лежала на душѣ, какъ неудача; Москву надо было запугать; любимцы, Вяземскій и Басмановы, надоѣли: ихъ обвинили въ сношеніяхъ съ Польшей и Литвою. Царь этому не вѣрилъ, зная, какъ всегда, что ему никто не измѣняетъ; но осудилъ любимцевъ, давъ дѣлу законность, за государственную измѣну; онъ такъ и велѣлъ своимъ посланникамъ говорить въ Польшѣ. Это—ужъ не ладанка. Вяземскаго обвинили еще сверхъ того, что онъ извѣстилъ новгородцевъ о царскомъ гнѣвѣ—поступокъ великодушный и смѣлый!

Вслѣдъ затѣмъ, зная объ этомъ обвиненіи и возвращаясь домой отъ бесѣды съ царемъ, который, хитря, продолжалъ оказывать ему милость, Вяземскій нашелъ трупы своихъ любимыхъ слугъ, убитыхъ въ его отсутствіи по царскому приказу, и прошелъ мимо, «будто не видя», чтобы не навлечь на себя царскаго гнѣва... Черта — страшная, и характеръ, который по ней возсоздается, безъ всякаго сомнѣнія, глубже и сильнѣе того бурно-мелодраматическаго, какимъ одѣлилъ Вяземскаго графъ А. Толстой... Правда, за характеромъ, указаннымъ исторіей, было бы больше работы.

Такъ же, какъ Ѳеодоръ Басмановъ, въ романѣ онъ только скоморошествоуетъ и звенитъ серьгами, а по сказанію исторіи — принужденъ царемъ убить своего отца. Онъ очень молодъ, онъ храбръ и (по исторіи) славно дерется. Его нравственное паденіе не объясняется на просто тѣмъ, что «развѣ ты не знаешь царя?» да «въ слободѣ поневолѣ всему научишься». Почему привилась эта наука къ молодой совѣсти, при сознаніи, что наука дурная? какъ страхъ пересилилъ молодую отвагу? Поискать это, конечно, труднѣе, нежели написать комедію на заданныя слова, которую Басмановъ играетъ передъ Серебрянымъ. При разработкѣ характеровъ, даже сцена, гдѣ Иванъ Васильевичъ осуждаетъ другого любимца — все за ладанку и за лягушечьи кости, — могла бы выйти менѣе блѣдна, несмотря на свою невѣрность исторіи, несообразность и великую неловкость — повтореніе однихъ и тѣхъ же причинъ катастрофы. Если бы авторъ помнилъ свой анахронизмъ (1570 годъ), онъ помнилъ бы, что уже былъ примѣръ митрополита Филиппа, и что между смиренными иноками, свидѣтелями того, какъ потащили Басманова, могли найтись и сострадающіе, и негодующіе, и защитники ему, и готовые принять ту исповѣдь, которую Ѳеодоръ Басмановъ пугаетъ царя. Въ рѣзкія минуты пробуждается рѣзкое чувство; неправда вызываетъ отпоръ; увлеченіе людей смиренныхъ и вѣрующихъ жарче всякаго увлеченія — а оно могло явиться: никто такъ, какъ иноки, не могъ поревновать мученическому вѣнцу Филиппа. Была или нѣтъ такая сцена въ исторіи, романистъ имѣлъ полное право написать ее: невѣрность исторіи была бы прощена ради драматизма и человѣческой правды. Съ другой стороны, между монахами были и потворщики Грознаго, тѣ, которые пировали съ нимъ, принимали на себя его епитиміи, окле-



ветали и помогли низложить Филиппа; какъ бы приняли эту бѣду Басмановы? Во всякомъ случаѣ, не богато вымысломъ заставить ихъ стоять, «потупя очи и дрожа всѣмъ тѣломъ», надъ недоѣденными сотами и чашками съ кислымъ молокомъ, покуда не только уѣхалъ Иванъ Васильевичъ, но не стало слышно и топота его лошадей... Конечно, такіе смиренные иноки удобнѣе, потому что создаются безъ большихъ размышлений и разбирательствъ.

Въ этой же сценѣ говорить два слова — кажется, единственные въ романѣ — Басмановъ-отецъ и исчезаетъ съ ними; тоже два слова достались Грязному, а, между тѣмъ, тотъ и другой — характеры очень разные: одинъ — гордый и храбрый бояринъ, побѣдитель крымцевъ, совѣтникъ царскій; другой — «холопъ Васюкъ», который изъ плѣна «плачется», что ему мало даютъ ѣсть, и молить у Бога единого — опять шутить за царскимъ столомъ. Царевичъ Иванъ весь построенъ на фразѣ: «наслѣдникъ пороковъ родителя». Такія фразы требуютъ разработки: почему, въ какой мѣрѣ наслѣдникъ? Авторъ говоритъ, что онъ былъ высокомеренъ и ненавидѣлъ Малюту; сказать это, описать какой-нибудь сверкнувшій взоръ, рассказать какую-нибудь шутку — еще ничего не значить. Къ тому надо замѣтить, что, рассказавъ шутку, авторъ тутъ же объясняетъ, какъ и почему она обидна, потому что безъ объясненія читатель и не обратитъ на нее вниманія; какая же жизнь и сила въ словахъ, когда для нихъ необходимо истолкованіе?.. На основаніи старинной пѣсни рассказывается покушеніе Малюты на жизнь царевича и геройскій подвигъ Серебрянаго. Въ вечерніе часы, когда все было безмолвно и мимо автора летали вечерніе жуки, ему ясно видѣлся Серебряный, летящій на конѣ въ погоню за Малютою, и потому, приведя сначала всю пѣсню, авторъ, велѣдъ затѣмъ, перекладываетъ ее пѣсеннымъ складомъ въ сцену и дополняетъ, поэтизируя пощечину, которую Серебряный даетъ Малютѣ «рукою могучею»:

«Раздалася пощечина словно выстрѣлъ пищальный; загудѣлъ сыръ-боръ, посыпались листья; бросились звѣри со всѣхъ ногъ въ чашу; вылетѣли изъ дупель пучеглазые совы; а мужики, далеко оттолѣ дравшіе лыжи, посмотрѣли другъ на друга и сказали, дивясь:

«Слышь, какъ треснуло? ужъ не старый ли дубъ подломился надъ Поганою-Лужей?..»

Авторъ привелъ на помощь Серебряному станичниковъ, освободилъ царевича, заставилъ его «по минованіи опасности

воротиться къ своимъ прежнимъ приѣмамъ», т.-е. сказать нѣсколько расплывчиво-надутыхъ фразъ своимъ освободителямъ — и только. Дальше авторъ самъ говоритъ, что не знаетъ, чѣмъ дѣло кончилось, и послѣдствій его не знаетъ... На что же было нужно роману приключеніе безъ конца и послѣдствій? Не очевидно ли, что оно тутъ единственно для пестроты, для той пестроты, которую масса читателей можно выдать за народный бытъ, за изученіе старины, за ея поэтическое возсозданіе? Масса читателей рѣшитъ, конечно, что пѣсня—складная и Серебряный—молодецъ... Чего же болѣе?

Это — для любителей народности. Для любителей сильныхъ ощущеній есть сцена въ тюрьмѣ, куда Малюта и Годуновъ приходятъ пытать Серебрянаго. Она прекрасно читается по-французски: «*Maluta rampait sur les genoux brandissant son coutelas; sa voix toujours rude ressemblait au mugissement du chacal, quelque chose entre le sanglot et l'éclat de rire. Il bondit, il s'élance, il rugit, il blasphème*» и пр., и какъ хорошъ этотъ flambeau qui s'éteint подъ ногою Годунова... и неужели русскій писатель не замѣтилъ, что написалъ главу для фельетона?

Но капитальная эффектная сцена—самая натянутая, самая неестественная сцена, которую масса читаетъ съ замираніемъ сердца и декламаціей, это—«шутовской кафтанъ Морозова». Съ виду она — въ порядкѣ вещей и исторіи; Иванъ Васильевичъ и не такъ потѣшался: онъ сажалъ на тронъ Ѳедорова, потомъ самъ тащилъ его оттуда и самъ рѣзалъ его ножомъ; не одинъ бояринъ Морозовъ дорожилъ своей честью и, конечно, не одинъ онъ за нее вступался. Но въ сценѣ романа графа А. Толстого нѣтъ возможности отмѣтить всѣ общія мѣста, всѣ длинноты, всѣ повторенія, всю театральность ея постройки, всю неловкость, съ которою она ведена, всѣ прозаическія истолкованія патетическихъ тирадъ, то необходимыя, потому что авторъ прежде не договорилъ чего-нибудь или не подготовилъ, то являющіяся по необъяснимой привычкѣ автора объяснять самого себя. Читателя беретъ нетерпѣніе съ первой минуты. Начинается съ того, что царь за своимъ обѣдомъ сажаетъ Морозова ниже Годунова. «Да, вѣдь, это ужъ было однажды! — прерываетъ читатель. — Неужели, чтобъ вызвать боярина на непокорность, у Ивана Васильевича не нашлось выдумки поновѣе?» Иванъ Васильевичъ начинаетъ говорить хладнокровно, что «исполняетъ

809  
2-33

всѣхъ ожиданія; всѣ чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, какъ проявится царскій гнѣвъ, коего приближеніе выказывала лишь легкая судорога на лицѣ, напоминающая дрожаніе отдаленной зарницы; всѣ груди были стѣснены, какъ предъ наступающею бурей...» У читателя стѣсняется грудь отъ ожиданія эффектовъ. Иванъ Васильевичъ жалуетъ Морозова шутовскимъ кафтаномъ, и авторъ, чувствуя, что его Морозовъ — несмотря на то, что романъ уже въ концѣ — не близокъ читателю къ сердцу, не взявъ въ толкъ, не заслужилъ уваженія, не живое лицо, спѣшить объяснить, что это былъ «гордый бояринъ», коего заслуга и древняя доблесть были давно всѣмъ извѣстны, и кстати описываетъ, что «его брови сначала заходили, а потомъ сдвинулись такъ грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выраженіе его показалось страшнымъ...» Въ самомъ дѣлѣ страшно! — думаетъ читатель, а между тѣмъ смѣется. Кафтанъ подаютъ вмигъ. «Зрѣлище было приготовлено заранѣе», — говоритъ авторъ, объясняя, по какому случаю пришла въ голову царю эта выдумка. Читатель не читая знаетъ, что кафтанъ подастъ Васька Грязной, а бояринъ Морозовъ обругаетъ его «холопомъ и кромѣшникомъ». Читатель дѣлается вдругъ такъ равнодушенъ, наряжать или не наряжать боярина, что авторъ, чувствуя это, заставляетъ боярина самого рассказывать свои подвиги и, кстати, даетъ маленькій комментарий, что царь «ощущалъ ко всѣмъ сильнымъ нравомъ неодолимую ненависть, и одна изъ причинъ, по коимъ онъ еще недавно, не отдавая себѣ отчета, отвратилъ сердце свое отъ Вяземскаго, была извѣстная ему самостоятельность». Читатель этого не зналъ, не вѣдалъ; за двадцать страницъ передъ тѣмъ его увѣряли, что Вяземскій осужденъ за колдовство и умыселъ на царское здоровье... Обращеніе отъ лица, которымъ слѣдовало бы занять все вниманіе, къ другому, уже безвозвратно отшедшему лицу, расхаживаетъ послѣднюю чувствительность читателя. Морозовъ надѣлъ кафтанъ — читатель отъ этого не смутился. Странное чувство! читатель какъ-будто смутился отъ всѣхъ трескучихъ фразъ, которыя теперь-то наговорить бояринъ...

«Время колокольцами, бояринъ подошелъ къ столу, опустился на скамью напротивъ Іоанна съ такою величественною осанкой, какъ-будто на немъ вмѣсто шутовскаго кафтана была царская мантия»... — и сталъ читать изъ Карамзина...



«И это — живой человѣкъ, оскорбленный старикъ!» прерываетъ читатель.

Морозовъ продолжаетъ, перефразируя Карамзина крѣпкимъ словомъ, пророчествуетъ, какъ герой классическихъ трагедій, засыпаетъ общими мѣстами и, начавъ слишкомъ свысока, натурально, «срѣзывается»: пересчитавъ преступленія Грознаго, онъ выше всѣхъ ставитъ... свое ряженье въ шутовской кафтанъ. Это — конечное, какъ рѣшаетъ Морозовъ. Упрекъ, пожалуй, естественный, какъ проявленіе обыкновеннаго оскорбленнаго самолюбія; но послѣ него авторъ уже совѣтъ напрасно еще разъ удостовѣряетъ, что «грозенъ былъ видъ стараго воеводы», что «въ негодующемъ взорѣ было столько достоинства, столько благородства, что въ сравненіи съ нимъ Иванъ Васильевичъ показался мелокъ». Если авторъ имѣлъ намѣреніе выставить въ Морозовѣ исключительное гордое родовое понятіе о чести, выражавшееся въ мѣстничествѣ (по Карамзину, даже не преслѣдуемое Грознымъ, какъ средство властвовать раздѣляя), то никакъ не слѣдовало называть это «достоинствомъ и благородствомъ»; слѣдовало просто сказать, что это было понятіе вѣка, сильное чувство сословія и т. д.; одна лишняя расхолаживающая замѣтка въ сценѣ ничего бы не значила: ихъ и безъ того довольно; но эта, по крайней мѣрѣ, имѣла бы смыслъ, ясенѣе опредѣлила бы Морозова, чѣмъ фраза о его «достоинствѣ и благородствѣ». Нѣтъ ни достоинства ни благородства въ человѣкѣ, который личную обиду ставитъ выше общихъ бѣдствій! Послѣ подобной выходки ему, конечно, не остается ничего больше, какъ перенести дѣло, за которое постоять онъ не сумѣлъ, инстанціей выше — на Страшный судъ... но и тамъ, какъ заключеніе и усиленіе обвиненій, выставить опять все-таки свой шутовской кафтанъ!

Морозовъ, мамка Онуфріевна, тѣни казненныхъ — всѣ грозятъ Ивану Васильевичу Страшнымъ судомъ. Исторически — это вѣрно. Терпѣніе — великая русская сила. Задавленная, безпомощная правда въ свои послѣднія минуты высказывала, что было поддержкой этой силы, на чемъ она основывала свои выжиданія — на помощи свыше. То же «начало» — «нѣтъ власти еще не отъ Бога» — къ Богу относило и власть надъ этой властью. Страдальцы, кончая свой подвигъ на землѣ, говорили это торжествующему злу... Но то, что полно значенія въ исторіи, что именно своимъ повтореніемъ

ужасаетъ въ ней, повторенное десятокъ разъ на страницахъ блѣднаго романа, однообразно и безсильно! Эти угрозы не вызываютъ ни оглядки на мрачное дѣло, ни тоски о погибающей правдѣ, ни мысли о возмездіи. Эти адскія бездны, эти дьяволы, поминаемые такъ часто, вертятся въ глазахъ читателя черными и красными пятнами, какъ на лубочныхъ картинкахъ; пророчества перекладываются въ слова: «А вотъ тебя припекутъ!» Читатель смѣется и утомленъ. Автору, безъ сомнѣнія, не того хотѣлось. Такъ зачѣмъ же онъ забылъ время, для котораго пишетъ — время строгой мысли, а не пестраго сѣувѣрія? Къ такому времени относятся иначе; его можетъ взволновать смыслъ, а не образъ — и еще такой неизящный!.. Но мы уже имѣли случай говорить довольно близко объ этомъ предметѣ автору «Князя Серебрянаго» по поводу драматической поэмы «Донъ-Жуанъ».

Если царь и бояре, которыхъ, по указаніямъ Карамзина, можно было изобразить жизненнѣе и вѣрнѣе, вышли такъ неудачны, то народъ, у Карамзина безличный и забытый, въ новомъ романѣ вышелъ еще неудачнѣе. Двѣ-три пѣсни, хороводъ, какая-нибудь присказка, какое-нибудь безсмысленное ругательство — еще далеко не быть народный, не чувство народное, не забота народная. Въ 1565 г., когда начинается романъ, «все русскіе люди, — говоритъ авторъ, — любили Іоанна всею землей». Такъ ли? онъ ужъ пять лѣтъ чудесиль. Невозможно, чтобы «чуждая буря», уносившая боярскія головы, не склоняла къ землѣ бѣдныхъ головъ народа; она должна была достигать и до нихъ. Царь безобразничалъ; любимцы его — тоже, и въ «Серебряномъ» Басмановъ хвастаетъ своими хороводами. Произволъ даетъ примѣръ произволу... Народъ не оставилъ своихъ жалобъ въ лѣтописяхъ, но потому только, что не писалъ ихъ. Народъ приходилъ къ тому, кто понималъ его, къ Филиппу, въ 1566 г. «заступленія ради, съ великимъ рыданіемъ, глаголати немогуще, токмо показующе ему мученіе». 1566 годъ недалеко отъ 1565, когда, по словамъ гр. А. Толстого, «Іоанна любили всею землей». Очевидно, что въ романѣ нѣтъ истиннаго положенія народа, не разобраны и его отношенія къ его власти. Любовь народа добывается трудомъ, и еще въ исторіи не было примѣра, чтобы она доставалась произволу. Навязывать народу шумный, черезъ край бьющій патріотизмъ новѣйшихъ газетныхъ статей и солдатскихъ пѣсенъ такъ неловко,

неудобно, невозможно, что невозможность доказывается сама собою: неудачею всего написаннаго въ этомъ тонѣ... Станичники гр. А. Толстого, кромѣ свойствъ общихъ всѣмъ неудачамъ, имѣютъ еще неосторожность походить на оперныхъ хористовъ: «Ляжемъ, коли надо, за святую Русь!» поетъ Серебряный.—Ляжемъ, ляжемъ!—«Что жъ, ребята, коли бить враговъ земли русской, такъ надо выпить за русскаго царя!»—Выпьемъ, выпьемъ!—«Да здравствуетъ великій государь нашъ!»—Да здравствуетъ царь!—«Да живетъ земля русская!»—Да живетъ земля русская!—«Да сгинуть всѣ враги», и пр.—Да сгинуть всѣ враги, и пр.

Очень серьезно, это — не народъ!

Изобразивъ его общими чертами, авторъ пожелалъ отдѣлать нѣкоторыя частности: преступленіе и раскаяніе въ лицѣ разбойника Коршуна, удалъ — въ Перстѣ, суевѣріе — въ колдунѣ, безсознательную силу — въ Митькѣ. Коршунъ сочиняетъ на себя невозможное злодѣйство: онъ шель по лѣсу, встрѣтилъ бабу съ лукошкомъ, сталъ отнимать; она повалилась ему въ ноги, потомъ стала отбиваться, ругать его, кусать за руки, все не отдавая лукошка. Онъ выхватилъ ножъ, убилъ ее, ушелъ было, воротился за лукошкомъ, отошелъ съ нимъ довольно и присѣлъ посмотриѣть, что тамъ. Оказался ребенокъ. Коршунъ убилъ и его. Это было бы невыразимо ужасно, если бы не было совершенно нелѣпо. Есть ли возможность такъ запрятать живого ребенка въ лукошко и замотать холстомъ, чтобы нельзя было распознать, что это? Такъ ребятъ не запрятываютъ и не заматываютъ: они, пожалуй, задохнутся. А если ребенокъ не задохнулся, былъ живъ въ лукошкѣ, когда мать съ нимъ вмѣстѣ валилась въ ноги, дралась за него—какъ же онъ не закричалъ? Какъ мать сама съ первой секунды не сказала, не показала, что въ лукошкѣ ребенокъ? Тогда, конечно, не было бы грѣха на душѣ дѣдушки Коршуна, и не въ чемъ было бы ему каяться, заимствуя (очень неудачно) складъ своего покаянія у множества народныхъ лицъ, въ послѣднее время описанныхъ нашею литературой. Желаніе пострадать за свой грѣхъ на семь свѣтѣ, чтобы грѣхъ отпустился въ будущемъ—черта вѣрная; но она свойственна народу и въ наше время: ее ничего не стоило подмѣтить, и потому нельзя отнести къ изученію народнаго характера XVI вѣка.

Колдунъ-мельникъ — лицо загадочное. Извѣстно, что у



народа множество повѣрій, приворотовъ, заговоровъ, которые объясняются суевѣріемъ; множество странныхъ лѣчебныхъ средствъ, подлежащихъ изслѣдованію науки и, можетъ-быть, годныхъ въ дѣло. Такъ было въ XVI вѣкѣ, такъ и теперь; но чудесъ не бывало и нѣтъ. Колдунъ гр. А. Толстого творить чудеса: исцѣляетъ словомъ и провидитъ будущее. Онъ имѣетъ полнѣйшее основаніе вѣрить въ силу своихъ заклинаній: то, что онъ призываетъ, повинуется, помогаетъ, покровительствуетъ ему; слѣдовательно, это не мечта, это «существуетъ»; слѣдовательно, колдунъ не «суевѣренъ». Что жъ это такое? Это — не «воспроизведеніе вѣрованій», какъ называетъ авторъ; это — доказанные, подтвержденные «факты», въ которые обязанъ повѣрить и читатель... Очень странно.

Перстень — мы его знаемъ и видимъ. Его появленіе, его рѣчи, похожденія, шуточки, золотой зипунъ, бѣлые зубы, чеканъ, мисюрка съ бармицей нисколько не воплощаютъ для насъ русской удали, но живо напоминаютъ азбучную картинку, вѣроятно, не намъ однимъ знакомую въ дѣтствѣ: тусклая литографія, раскрашенная, въ особенности, синимъ и краснымъ, наклеенная на кривой четырехугольникъ картона и подписанная: «Е. Ермакъ, покоритель Сибири». Тутъ не Ермакъ, а Кольцо, но все равно. Очень понятно, почему Перстень нравится своимъ читателямъ-дѣтямъ. Удалецъ, богатырь, сила!

И вотъ она еще, но «безсознательная» сила — Митька. Менѣе нежели безсознательная — безсмысленная! По уму-разуму онъ — сродни тѣмъ мужикамъ, которыхъ авторъ заставляетъ дивиться треску боярской оплеухи. «Лѣнь и природная сопливость превозмогали его гнѣвъ» — говоритъ авторъ. — Ему казалось, что не стоить сердиться изъ-за бездѣлицы (за толчки разбойниковъ), а важной-то причины не было!» Для Митьки нѣтъ никогда никакой важной причины, ему ничего не «кажется» и не можетъ казаться; онъ, когда «осерчаетъ, катаетъ праваго и виноватаго»; онъ не разглядитъ, что душитъ товарища; Перстень говоритъ, что онъ совсѣмъ глупъ; у него развиты только кулаки и плечи: это — животное... Для невозбужденной и только потому дремлющей русской силы, скромно, пожалуй, наивно, не сознающей себя, но чутко смыслящей все, что есть кругомъ, друга и недруга, правду и неправду — для этой силы обидно

подобное олицетвореніе... Впрочемъ, не вѣрнѣе ли будетъ предположить, что, руководствуясь А. Дюма, гр. А. Толстой просто изобразилъ мушкетера Портоса въ костюмѣ Емели?..

«Археологическія подробности», въ которыхъ авторъ «старался соблюсти истину и точность», заимствованы изъ журнальных статей и сборниковъ; но сотни лебедей, сотни журавлей, ухи курячьи, зайцы въ лапшѣ, особенно удавшіеся царскимъ поварамъ, верченныя почки и многое прочее не «воспроизводятъ фizioноміи» царскаго пира. «Бармицы, бахтерцы, аскамиты, саадаки, мисюрки, ерихонки» и т. д. — старинныя слова, но старины въ нихъ нѣтъ. Неровности слога, въ которыхъ заранѣе, въ предисловіи, извиняется авторъ, происходятъ совсѣмъ не оттого, что романъ писался десять лѣтъ; нисколько незамѣтно, чтобы возрѣніе или «манера» автора измѣнились къ концу романа: онъ написанъ совершенно одинаково отъ первой до послѣдней страницы. Но самъ авторъ, видимо, произвольно, часто на одной и той же страницѣ нѣсколько разъ мѣняетъ свой слогъ, настраивая его то на лѣтописный, то на сказочный, то на обыкновенный ладъ, какъ, напримѣръ, рассказывая приключенія царевича или смерть Максима Скуратова. Неровности слога у него намѣренныя; слѣдовательно, нечего и извиняться. Но онѣ — ужъ заодно съ другими неопредѣленностями романа. Въ немъ, между прочимъ, случается, исчезаетъ время и пространство. Идетъ, идетъ читатель, будто молодецъ въ сказкѣ, идетъ Москвой или слободой — вдругъ — лѣсъ, вдругъ — монастырь, вдругъ — откуда ни возмись — татары! Кажется, все дѣйствіе кружить подѣ Москвой или недалеко, а нѣтъ возможности вообразить никакой мѣстности. А мѣстность важна во всякомъ рассказѣ, и въ историческомъ особенно...

Остается завязка романа — вещь важная, если цѣлью автора было «воспроизведеніе эпохи». Гр. А. Толстой даже, сколько замѣтно, дорожилъ своею завязкой: онъ вмѣшалъ въ нее всѣ главные лица. Эта завязка — любовь. За прекрасную Елену Серебряный бьетъ опричниковъ, за Елену колдуетъ Вяземскій, за Елену Морозовъ идетъ на судъ Божій... Но все это — очень бѣдно, а могло бы быть богаче. Безъ женщины трудно составить романъ, и по этому поводу есть отговорка, что старинная русская жизнь не представляетъ женскихъ характеровъ. Желаящій найти — найдетъ. Находить же ихъ

теперь г. Островскій для своихъ драмъ. Исторія своими полусловами говоритъ многое. Какъ ни заключена была женщина въ своемъ теремѣ, жила же она, чувствовала, думала! Ея день не могъ проходить только въ заплетаніи косы, да пересматриваніи ожерельевъ. Житія святыхъ, о которыхъ она знала, которыя читались ей, должны были дѣлать на нее впечатлѣніе, непремѣнно восторженное, непремѣнно мечтательное и тѣмъ сильнѣе вызывающее на дѣйствіе въ минуты, когда дѣйствительность складывается въ драму. Невозможно предполагать, чтобы въ существѣ живомъ не было задатковъ дѣйствія. Они могли быть смяты рабствомъ, блѣдны отъ недостатка свѣта и простора, извращены, обращены во зло нравственнымъ униженіемъ, несознаваемымъ (а очень возможно — и сознаваемымъ), но они «были», потому что не быть не могли. Иначе пусть объясняютъ утверждающіе, что старинная русская женщина не имѣла характера, откуда же взялся онъ впослѣдствіи и отчего развился такъ разнообразно и такъ скоро? Не ассамблеи же его создали! Напротивъ, ассамблеи, какъ нѣчто навязанное и пустое, толкнули этотъ характеръ на другую, ложную дорогу... Это посторонній вопросъ; но что можно толкнуть, то — не призракъ, то существуетъ.

Отговорки въ недостаткѣ указаній того или другого, это — отговорки слишкомъ легкаго взгляда на жизнь, слишкомъ слабой привязанности автора къ своему созданію. Въ жизни все есть — стоить внимательнѣе вглядываться. Женщины, тѣмъ болѣе, узнаются только любя. Пусть авторъ искренно привяжется къ своей героинѣ, создастъ для себя всю ея жизнь со дня ея рожденія, перенесется во всѣ подробности ея быта, ея привычекъ, ея отношеній, живетъ ея существомъ — онъ дастъ ей характеръ; онъ угадаетъ ея помыслы, ощущенія даже среди самыхъ незначительныхъ обстоятельствъ, не только тамъ, гдѣ затронется ея душа... Тогда, конечно, онъ не напишетъ вялой Елены Дмитріевны, которая только плачетъ, блѣднѣетъ, рыбку кормить, чарки подносить и резонируетъ съ Вяземскимъ, едва очнувшись отъ обморока «на хребтѣ его коня». Это авторъ сочинилъ, а не видѣлъ. Читателю, просто, смѣшно, когда Елена Дмитріевна, *en femme du monde*, никогда не выдавшая *des moujiks* «дарить» мельнику ожерелье, которое онъ и самъ можетъ снять съ нея; когда она «въ ужасѣ запираетъ за нимъ дверь»,



между тѣмъ какъ онъ приплясываетъ и припѣваетъ: «Бду, бду!» Елена Дмитріевна цѣлуется съ Серебрянымъ черезъ частоколъ — она, вскочивъ на дерновую скамейку, онъ, вставъ на стременахъ — необыкновенно граціозно! Такъ, конечно, изобразятся они, если будетъ иллюстрированное изданіе романа; но развѣ это любовь?.. А сцена послѣдняго свиданія, эти лепестки розъ на черной одеждѣ инокини, эти наставленія... Но разбирать это рѣшительно невозможно: до такой степени это жеманно, лишено чувства, безжизненно, неистинно!..

Правда, мудроно и любить князя Серебрянаго. Это — не человѣкъ, а юноша изъ романа, примѣрно себя ведущій, чисто одѣтый, вѣрящій до безсмыслія во все великое и прекрасное. Онъ пять лѣтъ пробылъ въ Литвѣ, куда еще прежде Курбскаго ушло довольно русскихъ бояръ, но до того неприкосновенно сохранилъ слухъ свой отъ всякой вѣсти, что доѣхалъ изъ Литвы вплоть до Москвы, не вѣдая о существованіи опричины. Ему показываютъ: «вотъ она», а онъ все — «нѣтъ». Ему рассказываютъ: «тотъ казнень, другой казнень», а онъ — «неужели?» Ему говорятъ: «царь — такой и такой», а онъ — все свое: «царь правосудень!» Какъ настоящій благовоспитанный герой романа, онъ спасъ царевича отъ Малюты — хоть потомъ и самъ не знаетъ, чѣмъ кончилъ съ Малютою, побилъ татаръ сколько слѣдовало, не шель изъ тюрьмы и опять отдался царю въ руки и только въ концѣ, когда какъ-то запутались его собственные обстоятельства, вдался немножко въ скептицизмъ и объявилъ Еленѣ Дмитріевнѣ, что «на Руси никто не счастливъ» и что «царь губить родину», хотя безъ особенныхъ усилій разума могъ бы замѣтить это и съ самаго начала. Умираетъ въ бою, конечно, и все еще юный, тѣмъ же годомъ, какъ постриглась Елена Дмитріевна. Для героевъ романа и смерть-то приходитъ во-время! Человѣкъ иной томится-томится долгіе годы, бродитъ надъ могилами всего дорогого, видитъ, какъ крутомъ встаетъ и чернѣетъ общественная неправда, тянетъ свое честное незамѣтное дѣло и, прицѣпленный какимъ-нибудь прозаическимъ, чисто-житейскимъ долгомъ, не смѣетъ и попросить себѣ смерти у Бога... Но такъ кончаютъ люди, а не герои романа.

Вѣсть о смерти Серебрянаго и шутку Ивана Васильевича по этому поводу масса читателей принимаетъ съ должнымъ

чувствомъ тихой грусти и, несмотря на торжественный, хотя ни на что ненужный финаль покоренія царства сибирскаго, въ тихомъ раздумьѣ дочитываетъ романъ.

Съ другимъ чувствомъ дочитываютъ его другіе читатели. Вопросъ, неужели авторъ думаетъ, что это — историческій романъ, поднимается еще настойчивѣе...

В. Поръчниковъ.

---

## Искусство, религія, народность \*).

### ПО ПОВОДУ СОЧИНЕНІЙ ГРАФА А. К. ТОЛСТОГО.

Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой принадлежитъ къ той литературной эпохѣ, возрѣнія которой начали складываться подъ вліяніемъ Пушкина, Гоголя и Лермонтова, эпоха отдаленная отъ насъ и по времени и еще больше по понятіямъ о задачахъ литературы да и о другихъ еще болѣе важныхъ краеугольных вопросахъ... Эта эпоха обѣщала быть блестящею. Предъ нею были превосходные образцы; она имѣла не давнія, но добрыя литературныя преданія; такія высокія личности какъ Карамзинъ и Жуковскій благословляли, казалось, своихъ внуковъ продолжать начатое ими, и по особой благосклонности историческихъ судебъ, между этими «внуками» обнаружилось нѣсколько крупныхъ талантовъ. Къ сожалѣнію, вліяніе Пушкина начало вскорѣ ослабѣвать. Ширина и спокойствіе его міровоззрѣнія признаны были недостаткомъ, которому тогдашняя легкомысленная критика съ торжествомъ противопоставляла духъ недовольства, присущій Лермонтову, и сатирическое настроеніе Гоголя. Но при этомъ критика не умѣла или не хотѣла замѣтить, что недовольство Лермонтова и его пессимизмъ были результатомъ не столько стремленія къ какому-либо новымъ, высшимъ идеаламъ, сколько слѣдствіемъ причинъ чисто-индивидуальныхъ, отчасти нехорошихъ инстинктовъ, болѣе же всего зашедшей къ намъ съ Запада моды. Еще менѣе замѣтила современная критика, что Гоголь поражалъ сатирой именно противоположное тому, къ чему съ любовью и сочувствіемъ относился Пушкинъ, и что, слѣдовательно, они, хотя и съ

\*) «Русскій Вѣстникъ», 1883 г., № 3.



разныхъ концовъ, дѣйствовали въ одномъ направленіи... Вѣтеръ сильно дулъ въ это время въ сторону пессимизма, отрицанія, разрушенія; всѣ флюгера повернулись къ отрицательному полюсу. Въ такомъ духѣ писало желчью пропитанное, но остроумное перо Герцена, въ такомъ духѣ сталъ писать въ послѣдніе годы своей жизни Бѣлинскій, а за ними кинулась цѣлая орава: Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Шелгуновъ, Зайцевъ и т. д.; числомъ *crescendo*, достоинствомъ *diminuendo*.

Начало этого поворота относится къ сороковымъ годамъ. Начатая «Библіотека для чтенія», побѣда журнала надъ книгой довершена была «Отечественнымъ Записками». обстоятельное изслѣдованіе, зрѣло и во всѣхъ подробностяхъ обдуманная мысль, строгая провѣрка факта уступили мѣсто сенсационному слуху, односторонне, но ярко освѣщенной мысли, хлестко и съ самоувѣренностью высказанной. Разумѣется, объ искусствѣ не могло быть и помину при срочной, спѣшной, «на курьерскихъ» производимой работѣ. Отъ беллетриста потребовалась, вмѣсто таланта, тенденція въ извѣстномъ смыслѣ. Комедія, повѣсть или романъ должны были бить въ указанное мѣсто, и больше ничего отъ нихъ не требовалось; а когда замѣчали, что удары слабы, то умножали число грошевыхъ стѣннобитныхъ машинъ: цѣль все равно достигалась... Подобно искусству, отвергнуты были и истина, какъ самостоятельная цѣль, и наука, довѣяющая сама себѣ. Наукѣ велѣно было служить исключительно цѣлямъ партіи, а истинѣ — быть въ зависимости отъ «времени». До конца XVIII вѣка, возвѣщалось намъ, позволительно было признавать Бога; но теперь «духъ времени» допускаетъ, что

... Если и впрямь существуетъ Господь,  
То это только видъ кислорода.

Было время, говорилось далѣе, когда слѣдовало создавать государства, теперь они сами должны разрушать себя, узаконяя борьбу и раздраженіе партій; междоусобіе—единственная форма войны, вызывающая сочувствіе современнаго человѣка, который обязанъ разрушать вообще все существующее, и не на сторонѣ, не у сосѣдей, какъ дѣлали дикіе Атииллы и Тамерланы, а именно у себя, дома, какъ прилично людямъ цивилизованнымъ, какъ дѣлаютъ французы, поставившіе памятникъ революціи 1830 года. «Все отри-

цать» и «все ломать», это было высказано Базаровымъ, какъ ученіе, усвоенное уже чуть не цѣлымъ поколѣніемъ... Да, молодое поколѣніе пятидесятихъ годовъ усвоило всю эту мерзость, а люди зрѣлые не думали отъ нея отворачиваться, *et pour cause*: въ эту сторону вѣяли флюгера, туда указывала мода. Не даромъ же моду называютъ всемогущею; а тутъ мода шла съ Запада: за Герценомъ, за Бѣлинскимъ, за Чернышевскимъ стояли Контъ, Прудонъ, Бюхнеръ, Мадзини, Штраусъ. Мы поклонялись и менѣе значительнымъ созвѣздіямъ, когда они появлялись со стороны Запада. Да кромѣ того, были и другія причины. Въ началѣ пятидесятихъ годовъ наша читающая публика очень увеличилась численно, но въ качественномъ отношеніи она понизилась настолько же. Популярное изложеніе серьезныхъ предметовъ въ журналахъ привлекло къ нимъ массу читателей: кому, въ самомъ дѣлѣ, не лестно подумать, что, вотъ, я читаю и понимаю читаемое о выгодѣ свободнаго обмѣна товаровъ между различными государствами, что я не только узналъ, что такое федерація, но и сочувствую ей, что меня теперь не озадачиваютъ словами: централизація, исполнительная власть, парламентаризмъ, спикеръ... А такую массу читателей не трудно увлечь въ какую-угодно сторону.

Но возвратимся къ литературной плеядѣ, возсіявшей во второй половинѣ сороковыхъ <sup>1)</sup> и въ началѣ пятидесятихъ годовъ. Нѣкоторые изъ этихъ писателей, принявъ относительно своихъ литературныхъ произведеній девизъ «числомъ поболѣе, цѣною подешевле», вскорѣ исписались и пережили свою славу; другіе во-время покинули ложную дорогу; третьи, напротивъ, отказавшись отъ пушкинскихъ традицій, повернули по вѣтру по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ и бодро зашагали по грязи. Остальные затѣмъ, немногіе, и въ томъ числѣ гр. А. Толстой, съ начала и до конца сумѣли устоять противъ теченія. И устоять, повѣрьте, было не легко. Вы стоите и чувствуете вокругъ себя настоящій *Sturm und Drang*. Точно какая-то исполинская рѣка выступила изъ береговъ и вмѣсто волнъ мчитъ на васъ массу беллетристовъ, критиковъ, драматурговъ, профессоровъ, адвокатовъ, чиновниковъ, офицеровъ, студентовъ, институтокъ, толстыхъ по-

<sup>1)</sup> Нѣкоторыя стихотворенія А. Н. Майкова относятся даже къ концу тридцатыхъ годовъ.

мѣшниковъ и сѣдовласыхъ генераловъ... да, были и сытые помѣщики, насытившіеся генералы, а ужъ, кажется, чего бы имъ!.. И все это мчится и манитъ васъ, зоветъ и грозитъ. Они кричатъ: «Мы сила новая, никогда не виданная, нигдѣ не бывалая, сила современная! Мы призваны разрушить все, дабы міръ могъ возродиться въ совершеннѣйшей формѣ. За нами, за нами, и горе побѣжденнымъ!»

Повторяю, трудно было устоять противъ страшнаго напора. Вѣдь, сѣденькіе генералы и толстые помѣщики кинулись въ омутъ не изъ радости сердечной, а «страха ради іудейска»... Но графъ А. К. Толстой устоялъ. У ногъ его катятся человѣческія волны фантастической рѣки; изъ глубины ея долетаютъ до него то манящіе, то угрожающіе голоса; они не трогаютъ и не смущаютъ его.

Други, не вѣрьте! Все та же единая  
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстная

Правда все та же...

Дружно гребите во имя прекраснаго

Противъ теченія!

Други, гребите! Напрасно хулители

Мнятъ оскорбить насъ своею гордынею.

На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,

Выйдемъ торжественно съ нашей святынею!

Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное!

Вѣрою въ наше святое значеніе

Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное

Противъ теченія!

Щадя время и мѣсто, мы можемъ здѣсь только напомнить читателю превосходное стихотвореніе графа Толстого «Противъ теченія». А впрочемъ, и въ небольшихъ сдѣланныхъ нами выдержкахъ видна горячая вѣра автора и глубокое его убѣжденіе въ торжествѣ «вѣчнаго надъ конечнымъ» вообще и «прекраснаго» въ частности. Эта горячая вѣра и это непоколебимое убѣжденіе составляютъ главный мотивъ всей поэзіи графа Алексѣя Константиновича, основу всего ея содержанія. Въ его поэзіи выдается и та еще черта, та особенность, что она совершенно чужда раздраженія и желчи, которыми переполнена современная литература. Изъ людей мыслящихъ и пишущихъ каждый заботится не столько о торжествѣ своихъ убѣжденій, какъ о томъ, чтобъ осмѣять и скомпрометировать убѣжденія своего противника,



увизить его: свойственный эпохѣ зудъ разрушенія проявляется и въ этомъ... Ничего подобнаго въ графѣ Толстомъ не замѣтно. Даже къ противникамъ искусства, къ утилитаристамъ и позитивистамъ, къ тѣмъ,

Что все хотять загадить

Для общаго блаженства,

и къ тѣмъ графъ А. К. Толстой относится лишь съ легкою ироніей, но съ такою изящною, что она не можетъ не произвести впечатлѣнія (Потокъ-Богатырь, Пантелей-цѣлитель, Порой веселой мая и др.). Но какъ же могло въ графѣ Алексѣѣ Толстомъ образоваться такое міровоззрѣніе, столь независимое отъ всемірнаго деспота, именуемаго «духомъ времени», стремящагося подчинить себѣ симпатіи и антипатіи людей, господствовать надъ ихъ мышленіями, нивелировать ихъ духовныя потребности? Помимо индивидуальныхъ качествъ графа Толстого, въ этомъ не малую роль играютъ, конечно, его воспитаніе, тѣ впечатлѣнія, которыя онъ воспринялъ въ эпоху наибольшей восприимчивости своей, та обстановка, тѣ преданія, которыя образовали вокругъ него какъ бы специальную атмосферу. Къ сожалѣнію, намъ недостаточно знакома частная жизнь графа Толстого, и кромѣ коротенькой его автобіографіи, приложенной къ его сочиненіямъ, да указаній, которыя даютъ сами сочиненія, мы не находимъ ничего для нашего руководства въ этомъ отношеніи. Порывшись, однако, въ этихъ источникахъ, мы найдемъ отвѣты на многіе вопросы. Мы узнаемъ изъ автобіографіи нашего поэта, что дѣтство его было очень счастливо и оставило ему «одни свѣтлыя воспоминанія»... Указаніе драгоцѣнное. Добрая половина нынѣшнихъ разрушителей вынесли свою озлобленность изъ своего дѣтства, изъ семьи своей; эта озлобленность—результатъ щипковъ грубой и безтолковой матери, подзатыльниковъ пьянаго отца, да еще бѣдности, которую главы семейства не умѣли ни переносить съ достоинствомъ ни одолѣть разумнымъ трудомъ. «Семья была для насъ преддверіемъ каторги», сказалъ (кажется, на судѣ) Нечаевъ, а вслѣдствіе того, по логикѣ, имѣющей много послѣдователей, этихъ «насъ» нельзя и обвинять въ томъ, что они хотять перевернуть весь міръ вверхъ ногами. Многихъ, очень многихъ изъ нихъ, при самомъ выходѣ изъ семьи, принимаетъ на

свое попеченіе общественная благотворительность, и это должно бы, кажется, парализовать въ нихъ предрасположеніе къ зависти и ненависти. Нѣтъ, жить на чужой, на общественный счетъ они скоро привыкають, не имѣя никакого живого лица для благодарности; кого, въ самомъ дѣлѣ, благодарить? цѣлый городъ? все общество? всю Россію? Да притомъ доктрина спѣшитъ вытравить изъ юныхъ сердець самую потребность, самый принципъ благодарности. Кто да-етъ? богатые: но *la propriété c'est le vol*. Притомъ благодарность есть видъ сентиментальности; она примиряетъ, она усыпляетъ, а «духъ времени» требуетъ борьбы. Борьба—это основное условіе прогресса. Но, чтобы бороться съ успѣхомъ, надо чувствовать вражду къ своему противнику. Станемъ же ненавидѣть нашихъ анонимныхъ благодѣтелей, и да здравствуетъ зависть, этотъ надежный стимулъ прогресса!.. Очевидно, вліянія этихъ проклятыхъ ученій графъ Толстой не могъ испытывать; съ другой стороны, на него дѣйствовали вліянія иного рода. Ребенкомъ онъ жилъ съ семействомъ своимъ въ деревнѣ и сверстниковъ не имѣлъ; это развило въ немъ созерцательность; шести лѣтъ онъ уже писалъ стихи. Жизнь его начинала уходить въ мысль, въ фантазію; это рассказываетъ намъ самъ поэтъ нашъ въ своей (не особенно, впрочемъ, удачной) поэмѣ Портретъ.

Тринадцати лѣтъ онъ посѣтилъ Италію и уже въ состояніи былъ восхищаться образцами итальянской живописи и скульптуры. «Это восхищеніе было такъ сильно,—пишетъ нашъ поэтъ,—что по возвращеніи въ Россію, я впалъ въ настоящую тоску по Италіи, доходилъ до какого-то отчаянія, которое заставляло меня днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когда мои сны заносили меня въ мой потерянный рай»...

Все это вызываетъ презрительную улыбку у критиковъ и рецензентовъ извѣстнаго лагеря. Рецензентъ «Дѣла» признаетъ графа Толстого представителемъ «заоблачной поэзіи, эстетической нравственности и индифферентной философіи», а его поэзію — «поэтическимъ разгильдяйствомъ»<sup>2)</sup>. Но нравственные и гражданскіе идеалы «Дѣла» при немъ и остаются.

<sup>2)</sup> «Дѣло», 1882, № 10.

Я забылъ сказать, что, будучи восьмилѣтнимъ мальчикомъ, графъ Алексѣй Константиновичъ былъ представленъ императору Николаю, въ то время молодому еще, но уже побѣдителю персіянъ и турокъ, а также и обремененному годами и славою Гёте. Разумѣется, ребенокъ не могъ сознать, когда находился въ кабинетѣ молодого императора, сколько государственнаго могущества онъ видитъ передъ собою, насколько интеллектуальной силы сосредоточивалось въ въ головѣ человѣка, державшаго его на колѣнахъ во Франкфуртѣ. Но, входя въ сознаніе, онъ, безъ сомнѣнія, понялъ, что въ лицѣ императора Николая и поэта Гёте онъ нѣкогда видѣлъ два типа человѣческаго величія. Послѣдній былъ ему болѣе по душѣ. Но его семейныя связи поставили его въ отношенія близкія къ тогдашнему Наслѣднику, а когда Великій Князь Александръ Николаевичъ вступалъ на престолъ, то сдѣлалъ его флигель-адъютантомъ и приблизилъ къ себѣ и своему семейству. Императрица Марія Александровна любила слушать стихи графа Толстого изъ устъ самого автора; «дворъ и свѣтъ» привѣтливо открыли свои двери молодому флигель-адъютанту, богатому, прекрасно образованному и поэту, начинавшему имѣть успѣхъ. Но «дворъ и свѣтъ» не очень сильно влекли къ себѣ молодого поэта. Онъ былъ горячо преданъ царственной четѣ, искренно имъ интересовавшейся, цѣнилъ вниманіе къ себѣ и личныя качества нѣсколькихъ лицъ изъ высшаго свѣта, но не въ этомъ свѣтѣ и не въ придворныхъ сферахъ витала его мысль и не тамъ нашло пріютъ его сердце. Онъ познакомился въ это время съ замѣчательною женщиной, сдѣлавшеюся его супругой. Всему свѣтскому блеску и всей этой «ярмаркѣ тщеславія», которая вокругъ него кипѣла, онъ предпочиталъ общество этой умной, образованной, богатой талантами женщины, и часто пріѣзжалъ доканчивать вечеръ въ ея скромной гостиной, показавшись лишь, ради приличія, на придворномъ балу или дипломатическомъ раутѣ. А затѣмъ... Затѣмъ случилось то и такъ, какъ описано въ Іоаннѣ Дамаскинѣ. Графъ Толстой взмолился:

О, отпусти меня, калифъ,  
Дозволь дышать и пѣть на волѣ;

на что «калифъ» отвѣтствовалъ:

... въ твоей груди  
Не властенъ я сдержать желанье:



Пѣвецъ, свободенъ ты. Иди,  
Куда влечетъ тебя призванье...

Такъ было дѣло. Такъ ли бы случилось, если бы вмѣсто графа Алексѣя Толстого былъ одинъ изъ тѣхъ «практичныхъ людей», коихъ противопоставляютъ ему и его «эстетической нравственности», это сомнительно. «Практическій человѣкъ», вѣроятно, бралъ бы жалованье «калифа», а, между тѣмъ, доставлялъ бы о немъ всякія сплетни и мерзости въ оппозиціонный лагерь... Но это мимоходомъ.

Прочтите еще разъ вышеприведенные стихи: «пѣтъ, пѣ-вѣцъ, призванье», — какія странныя, архаическія выраженія!.. И не только выраженія, но и идеи. Понятна та иронія, внушаемая сознаніемъ своего превосходства, съ которою относится рецензентъ «Дѣла» къ графу Толстому. О какомъ это «призваніи» онъ говоритъ? О писательскомъ что ли? Такъ у насъ никакого на это призванія нынѣ не требуется. Обыкновенно бываетъ такъ: юноша, отъ шестнадцати до двадцати лѣтъ, является въ редакцію и объявляетъ, что ему ѣсть нечего, что стипендіи ему не хватаетъ на папиросы, что уроковъ невозможно достать и что онъ желаетъ заняться литературой. По счастью, не всѣ мѣста въ редакціи заняты: Юношѣ предлагаютъ на выборъ: заняться финансами, учебнымъ отдѣломъ или дипломатіей, а не то принять на себя литературное обозрѣніе. Погадавъ на пальцахъ, юноша принимаетъ одинъ изъ предложенныхъ ему отдѣловъ, и въ Россіи становится однимъ глубокимъ финансистомъ или ученымъ критикомъ больше; естественныя науки приобрѣтаютъ новаго защитника, а князь Бисмаркъ — яраго порицателя. А бываетъ и такъ: замѣтивъ, что «финансы» не слишкомъ способствуютъ благосостоянію занимающагося ими, юноша принимается за беллетристику, и на руссійскомъ Геликонѣ появляется новый Вальтеръ-Скоттъ или Шекспиръ... При такомъ способѣ пополненія литературныхъ силъ, разумѣется, нечего и говорить о «призваніи». Но въ томъ-то и дѣло, что графъ Толстой былъ вовсе не одинъ изъ тѣхъ юношей, для которыхъ все равно, учителемъ ли ариѳметики быть или врачомъ, адвокатомъ, чиновникомъ, литераторомъ, лишь бы имѣть вѣрный кусокъ хлѣба, при чемъ литературная профессія представляется самою удобною, самою доступною, потому что она не требуетъ де никакой подготовки. Нѣтъ, «призваніе» было для нашего поэта не пустымъ сло-

вомъ, а къ нему онъ готовился, готовился еще съ малолѣтства, всѣмъ складомъ своей жизни, тою созерцательностью, которую развило въ немъ одиночество, тѣмъ чувствомъ красоты, которое воспиталось, благодаря пребыванію въ Италіи, а позднѣе — знаніемъ многихъ языковъ и изученіемъ многихъ иностранныхъ литературъ. Онъ потрудился и надъ техникой стихотворнаго ремесла, надъ стихосложеніемъ, научившись ему, какъ рассказываетъ поэтъ, изъ какого-то стараго сборника стиховъ. Словомъ, онъ серьезно и добросовѣстно подготовился къ своей литературной дѣятельности, къ своему званію поэта, — званію, которое въ былое время чиновные дѣльцы и бары считали, а теперь и прогрессисты считаютъ, не стоющимъ вниманія баловствомъ... Послѣдимъ же за графомъ Толстымъ въ избранной имъ сферѣ, въ сферѣ искусства.

Графъ Алексѣй Толстой испытывалъ себя въ драмѣ, въ романѣ, въ поэзіи лирической и эпической. Есть у него горячія строфы, помимо воли вырывавшіеся изъ сердца вопли горести, состраданія, восклицанія бодрой радости, есть гимны любви, подобные, напримѣръ, очаровательной бездѣлушкѣ: То было раннею весной. Но такихъ выраженій чистаго лиризма, лиризма безо всякой примѣси, не много; и замѣчательно, — чисто лирическія стихотворенія графа Толстого написаны, большею частью, простонароднымъ или стариннымъ языкомъ, напримѣръ: Не Божіимъ громомъ горе ударило, Нѣтъ, ужъ не вѣдать мнѣ, братцы, ни сна, ни покою и т. д. Говоря вообще, лирическое движеніе переходитъ у графа Толстого въ размышленіе или въ картину природы. Такъ, напримѣръ, поэтъ (или тотъ, отъ чьего имени онъ говоритъ), склонясь надъ изголовьемъ умирающей дорогой ему женщины, восклицаетъ:

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище!

Это — чистая лирика; это — вырвавшийся прямо изъ сердца вопль. И, далѣе, первыя три строфы начинающагося вышеприведенными словами стихотворенія имѣютъ характеръ лирическій; но въ послѣдней строфѣ мысль уже беретъ верхъ надъ чувствомъ:

Сліясь въ одну любовь, мы — цѣпи безконечной  
Единое звено,  
И выше восходить въ сіянье правды вѣчной  
Намъ врозь не суждено.

Возьмемъ для другого примѣра слѣдующее одно изъ прекраснѣйшихъ лирическихъ стихотвореній нашего поэта:

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,  
Въ полуденныхъ лучахъ слѣды недавней стужи  
Дымятся. Теплый вѣтръ повѣялъ намъ въ лицо  
И морщитъ на поляхъ синѣющія дужи.

Еще трещитъ каминъ, отливами огня  
Минувшій тѣсный міръ зимы лапоминая,  
Но жаворонокъ тамъ, надъ озимью звеня,  
Сегодня возвѣстилъ, что жизнь пришла иная.

И въ воздухѣ звучатъ слова, не знаю, чьи,  
Про счастье и любовь, и юность, и довѣрье,  
И громко вторять имъ бѣгущіе ручьи,  
Колебя тростника желтѣющія перья.

Пуškai же, какъ они по глинѣ и песку  
Растаявшихъ снѣговъ, журча, уносятъ воды,  
Безслѣдно унесетъ души твоей тоску  
Врачующая власть воскреснувшей природы.

Изъ четырехъ куплетовъ этого стихотворенія только одинъ заключаетъ въ себѣ обращеніе къ внутреннему міру поэта. Въ трехъ первыхъ—изображеніе внѣшней природы, но насквозь проникнутое настроеніемъ автора.

Графъ Алексѣй Толстой обладалъ въ высшей степени эпической способностью проникать въ духъ данной эпохи и характеризовать ее нѣсколькими поразительно яркими чертами. Пусть читатель припомнитъ Чужое горе и Потокъ-Богатырь и, конечно, согласится, что невозможно немногими штрихами написать болѣе яркой картины изъ русской исторіи. Въ такихъ случаяхъ нашъ поэтъ поднимается на большую высоту надъ событіями и людьми и пишетъ широкою кистью, крупными чертами. Но онъ умѣетъ стать и живымъ современникомъ данной эпохи, свидѣтелемъ описываемаго событія, съ сохраненіемъ при этомъ той степени сочувствія, безъ которой все мертвенно, и той степени объективности, которая необходима, чтобы господствовать надъ предметомъ. Припомните, какими яркими чертами графъ Толстой описываетъ пирующихъ старшинъ Иерусалима въ «Грѣшницѣ» и «свободно» разговаривающихъ

О ненавистномъ игѣ Рима,  
О томъ, какъ властвуетъ Пилать,  
О ихъ старшинъ собранъ тайномъ,  
Торговлѣ, мирѣ и войнѣ,  
О мужѣ томъ необычайномъ...



Мы такъ много съ дѣтскихъ лѣтъ читали и слышали объ Иерусалимѣ, объ іудеяхъ, современникахъ земной жизни Христа, о Пилатѣ, что все это представляется намъ безличнымъ, безформеннымъ, не вызываетъ никакого яснаго представленія. Но поэтъ прикоснулся къ этимъ слишкомъ знакомымъ, а потому ничего уже не говорящимъ намъ образамъ, и они мгновенно ожили передъ нами; намъ ясно представляются и отношенія евреевъ Палестинѣ къ Риму, вѣчныя жалобы на побѣдителей, жалобы людей, никогда не умѣвшихъ образовывать государства, но никогда и нигдѣ не утратившихъ своей національной фیزیономіи, этихъ торгашей, страстно преданныхъ наживѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поднимавшихся въ лицѣ нѣкоторыхъ своихъ представителей до такой высоты мысли и духа, какой никогда не достигали ни греки ни римляне. И посмотрите, какая картинность во всей этой маленькой поэмѣ, начиная съ описанія помѣщенія, въ которомъ происходитъ пиръ, до портрета самой Грѣшницы, до момента появленія Христа, когда

... пронеслося надъ народомъ  
Какъ дуновенье тишины.

Кажется, схватилъ бы кисть и палитру и въ одно мгновеніе положилъ бы на полотно все, что такъ ясно и отчетливо рисуется въ воображеніи. Диво ли, что поэма графа Толстого, чудная по замыслу, превосходная по исполненію, яркая по колориту, богатая психологическими оттѣнками, вдохновила одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ живописцевъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ на литературномъ вечерѣ въ небольшомъ городкѣ Царства Польскаго была прочтена «Грѣшница»; среди публики былъ одинъ польскій поэтъ, малоизвѣстный, но понимающій искусство: онъ былъ приведенъ ею въ такое восхищеніе, что немедленно перевелъ ее и послалъ въ одно изъ варшавскихъ періодическихъ изданій.

Но «Грѣшница» не есть, строго говоря, поэма; это—картина, превосходная картина и только. Никакого дѣйствія въ ней не развивается, или, пожалуй, и развивается, но переходъ «падшей дѣвы» отъ дерзкаго вызова, обращеннаго къ Іоанну, до того момента, когда

... пала ницъ она, рыдая,  
Передъ святынею Христа,

совершается почти мгновенно. Повторяю, «Грѣшница» — это картина, это блестящее изображеніе даннаго момента; она

способна вдохновить живописца, но «Иоаннъ Дамаскинъ» способенъ вдохновить (да и вдохновилъ) музыканта, стать сюжетомъ симфоніи или ораторіи. Это, безъ сомнѣнія, капитальнѣйшее изъ произведеній графа Толстого; это настоящая поэма, въ которой талантъ ея автора обнаружился во всемъ своемъ величіи. Далѣе будетъ сказано подробнѣе объ этой поэмѣ, здѣсь же мы обратимъ вниманіе читателя на одну особенность нашего поэта, на одну выдающуюся черту его таланта — на его версификацію. Онъ долженъ быть признанъ великимъ мастеромъ версификаціи. Правда, стихъ его не всегда отличается совершенствомъ отдѣлки, какъ стихъ Пушкина. Вѣроятно, по лѣности, которая «родилась прежде насъ», нашъ поэтъ не исправлялъ небрежность своего первоначальнаго брульона \*). Но очень немногіе могутъ сравниться съ нимъ въ прелести версификаціи, взятой en gros, въ звучности, полнотѣ, колоритности стиха, въ его «сочности», если позволено употребить это слишкомъ затасканное слово. Онъ владѣетъ всѣми размѣрами съ одинаковымъ мастерствомъ; перелистуйте два тома его стихотвореній, и вы встрѣтите всевозможные образцы версификаціи, отъ четырехстопнаго ямба до ритмовъ самыхъ сложныхъ. Въ одномъ «Иоаннѣ Дамаскинѣ» ихъ не менѣе восьми. Да не подумаютъ при этомъ, что графъ Толстой нарочно щеголяетъ трудностями стихосложенія. Какъ истинный художникъ, онъ понимаетъ, что каждый размѣръ соответствуетъ извѣстному психологическому состоянію, что извѣстный поэтический мотивъ укладывается лучше въ такой-то ритмъ, чѣмъ въ остальные. Едва ли другимъ размѣромъ, кромѣ гекзаметра, можно было бы передать величавую простоту легенды о бесѣдѣ Іоанна съ монахомъ, у коего умеръ братъ и для котораго написаны имъ безсмертные похоронные тропари; едва ли какой-либо другой размѣръ, кромѣ смѣшаннаго анапеста, съ тремя краткими слогами посрединѣ и двумя на концѣ, болѣе соответствуетъ строфѣ, начинающейся словами:

Тотъ, кто съ вѣчною любовію...

И какъ приходится торжественная мелодія дактиля (смѣшаннаго) къ мажорному содержанію фінала поэмы:

Воспой же, страдалецъ, воскреснующую пѣснь!

\*) Брульонъ — черновое письмо.

Самая послѣдняя строфа написана обыкновеннымъ ямбомъ; но этотъ истасканный размѣръ какъ-то свѣжо и молододозвучитъ послѣ величаваго амфибрахія, а постройка стиха, заимствованная изъ нашей народной литературы («Не съ дикихъ падаетъ высотъ»), сообщаетъ этой строфѣ необыкновенную оригинальность...

Нашъ поэтъ не только владѣетъ съ одинаковою свободою всѣми размѣрами,—онъ владѣетъ съ рѣдкимъ искусствомъ усваивать рѣчь изображаемой имъ эпохи, ея складъ, ея тонъ,—а складъ и тонъ рѣчи характеризуютъ людей и эпохи едва ли не болѣе, чѣмъ бытовые подробности, добытыя археологіей. Не угодно ли сравнить складъ и тонъ рѣчи въ «Пѣснѣ о походѣ Владимира», въ «Алешѣ Поповичѣ», въ «Садеѣ» съ тономъ и складомъ въ «Боривоѣ», «Канутѣ», «Ругевитѣ», «Эдвардѣ», «Трехъ побоищахъ», и вы тотчасъ же почувствуете, что тамъ и тутъ говорится о различныхъ народахъ, о людяхъ съ неодинаковымъ бытомъ, міровоззрѣніемъ и темпераментомъ. Стихотворенія графа Толстого изъ поморскихъ легендъ, можетъ-быть, не уступаютъ его кievскимъ былинамъ по своеобразности тона и складу рѣчи. И то же самое слѣдуетъ сказать о древнеитальянской легендѣ «Драконъ», одномъ изъ капитальныхъ произведеній графа Толстого.

Мы только-что назвали кievскія былины графа Толстого и спѣшимъ перейти къ нимъ. Наши старинныя пѣсни, сказки и былины общеизвѣстны; еще на школьной скамьѣ насъ знакомятъ съ ними. Хорошо ли это? Едва ли. Прежде чѣмъ приступить къ изученію нашей древней литературы, мы болѣе или менѣе знакомимся съ литературой современною, заучиваемъ стихи Крылова, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Майкова. Эти благозвучные, музыкальные стихи избаловываютъ нашъ слухъ съ малолѣтства, а еще болѣе требовательными относительно формы дѣлаютъ насъ стихи греческихъ и латинскихъ поэтовъ,—и вдругъ эта рубленая проза нашихъ древнихъ стихотвореній, въ которыхъ, сверхъ того, на каждомъ шагу насъ непріятно поражаютъ черезчуръ смѣлыя метафоры, чудовищныя преувеличенія, черты грубости нравовъ... Эти несочувственные впечатлѣнія могутъ изгладиться и, дѣйствительно, изглаживаются впослѣдствіи подъ вліяніемъ размышленія и болѣе зрѣлыхъ воззрѣній. Мы поворачиваемъ вопросъ въ другую сторону и го-



воримъ: вотъ каковы мы были и вотъ до чего, однако, дошли. Но къ такимъ выводамъ приходятъ сравнительно немногіе; едва ли не большинство такъ и остается подъ впечатлѣніемъ смущенія за свое историческое происхожденіе, за основы своей народности. Главное же — старинная наша поэзія не нравится массѣ читающей публики; она не правится, по крайней мѣрѣ, *au naturel*; «Сборники» Кирѣевскаго, Рыбникова и пр. не расходятся въ публикѣ и остаются на полкахъ специалистовъ. А жаль. Въ нашей народной поэзіи заключаются богатые родники поэзіи; тамъ — драгоценныя бытовые черты, тамъ то, что, главнымъ образомъ, сообщаетъ самой исторіи культурный характеръ! Въ Германіи Гёте, въ Англіи Вальтеръ-Скоттъ и Макферсонъ избавили отъ подобной участи народныя литературы. Изъ русскихъ поэтовъ болѣе всѣхъ поработалъ въ этомъ отношеніи графъ А. К. Толстой. Онъ изучилъ нашу древнюю народную литературу; онъ въ нее вчитался, онъ ею проникся и, не переводя на современный языкъ тѣхъ или другихъ стихотвореній, не задаваясь неисполнимою мыслью, занимавшею людей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, составить изъ старинныхъ нашихъ пѣсенъ, сказокъ и былинъ русскую «Иліаду», онъ изложилъ весь усвоенный и переработанный имъ матеріалъ въ цѣломъ рядѣ небольшихъ эпическихъ-стихотвореній, проникнутыхъ духомъ нашей древней богатырской, домонгольской Руси, но очищенныхъ отъ грубости и неуклюжести, присущихъ творчеству эпохъ почти доисторическихъ. Это — храмъ Василія Блаженнаго, только сложенный нынѣшними каменщиками и расписанный нынѣшними малярами; это — наша простонародная музыка, это «Камаринская», но аранжированная Глинкой; это — рассказанная Пушкинымъ «Сказка о царѣ Салтанѣ». Можно пожалѣть только, что графъ Толстой не сдѣлалъ того же съ былинами новгородскими. Онъ занялся однимъ Садкой, и то эпизодически. Но зато что за прелесть этотъ эпизодъ, это пребываніе Садки въ гостяхъ у подводнаго царя!

Строгіе пуристы не преминутъ замѣтить, что кievскія былины подъ перомъ графа Толстого кое въ чемъ отступаютъ отъ оригиналовъ. Супруга Владимира, которую нашъ поэтъ всего одинъ разъ, впрочемъ, показываетъ «въ красѣ сѣдыхъ кудрей», не похожа на «Княгиню Апраксіевну» былинъ; Алеша Поповичъ графа Толстого несравненно симпатичнѣе своего

подлинника; очаровательный сюжетъ «Сватовства» принадлежит самому поэту. Но, по нашему мнѣнію, это не подаетъ повода не только къ упрекамъ, но и къ сожалѣнію. Поступитесь частичкой реализма хоть относительно этихъ отдаленныхъ полубаснословныхъ эпохъ нашей исторіи! Посмотрите, у всѣхъ народовъ такія эпохи окружены ореоломъ поэзіи. Граціозные, симпатичные вымыслы, иногда очевидные, сохраняются, однако, и никому не рѣжутъ глазъ. Неужели настоящій Гамлетъ былъ такой тонкій психологъ и резонеръ, какъ Гамлетъ Шекспира, или настоящій Фриѳофъ—такое сочетаніе всевозможныхъ доблестей, какимъ онъ является въ поэмѣ Тегнера! <sup>4)</sup> Неужели герои нѣмецкихъ легендъ были, въ самомъ дѣлѣ, такими возвышенными, чувствительными, великодушными и неустрашимыми джентльменами? Прочтите о древнихъ германцахъ не Тацита, который расписываетъ ихъ доблести въ пику своимъ современникамъ римлянамъ, — нѣтъ, прочтите свидѣтельства другихъ очевидцевъ или, хоть, *Etudes Historiques* Шатобриана, въ которыхъ собраны всѣ извѣстныя показанія очевидцевъ о варварахъ, праотцахъ нынѣшнихъ западно-европейцевъ, и вы убѣдитесь, что они ничѣмъ не лучше нашихъ Апраксиевнѣ, Алешей Поповичей, даже Змѣевъ Тугариныхъ. «Пить пиво, воду, молоко, вино изъ черепа непріятеля есть общій всѣмъ варварамъ обычай», говоритъ одинъ современникъ, а другой добавляетъ, что въ Галліи, именно въ Бретани, жили людодѣды не далѣе какъ въ IV или V вѣкѣ; чѣмъ же это лучше нашихъ древлянъ, которые «живяху звѣриньскимъ образомъ и ядаху вся нечисто»! Сидоній Аполлинарій, умершій въ концѣ V вѣка, заключаетъ описаніе разнообразной толпы «длинноволосыхъ», среди коихъ ему пришлось пробыть нѣсколько времени, слѣдующими словами: «Счастливы глаза ваши, счастливы ваши уши, что они ничего не видятъ и не слышатъ». А вотъ и нѣсколько чертъ, характеризующихъ прабабушекъ «мечтательныхъ нѣмокъ» Шиллера: «Жены ихъ (кимвровъ и тевтоновъ) вооружались мечами и копьями; съ воємъ, скрежеща

<sup>4)</sup> Тегнеръ — выдающійся шведскій поэтъ и глава т.н. готической, національной романтической школы. Изъ его поэмъ особенно извѣстна «Сага о Фриѳофѣ».

зубами отъ бѣшенства и отчаянія (вслѣдствіе понесеннаго пораженія), онѣ били и кимвровъ и римлянъ... Окровавленные, съ распущенными волосами, все въ черномъ, врывались въ свои кибитки, чтобы избить своихъ мужей, братьевъ, отцовъ, сыновей, чтобы задушить младенцевъ и бросить ихъ подъ ноги коней, а въ заключеніе онѣ сами закалывались». Одна повѣсилась на дышлѣ телѣги да и двухъ дѣтей своихъ повѣсила заодно... И, не взирая на это, посмотрите, какихъ поэтическихъ дѣвъ и какихъ идеальныхъ джентльменовъ вводитъ Вагнеръ въ свои оперы изъ туманной дали средневѣковыхъ легендъ. Или, вотъ, слѣдующій примѣръ. Кто не знаетъ у насъ идеальнаго рыцаря Роланда, этого племянника (мнимаго) Карла Великаго, погибшаго въ битвѣ съ маврами въ Ронсевальской долиנѣ. Мы, русскіе, не обязаны знать въ подробности біографію Роланда, и потому мы въ правѣ (повидимому) сдѣлать такое умозаключеніе и успокоиться на немъ: если-де имя дошло до нашего времени сквозь толщу десяти вѣковъ, то, безъ сомнѣнія, это былъ великій паладинъ, непобѣдимый боецъ, «рыцарь безъ страха и упрека». Мало того, и это — подробность, можетъ-быть, не всеѣмъ извѣстная: передъ самымъ началомъ Гастингскаго сраженія (10 августа) одинъ изъ рыцарей Вильгельма-Завоевателя запѣлъ пѣснь о Роландѣ, съ цѣлью возбудить геройскій духъ въ своихъ товарищахъ, и все норманнское воинство подхватывало послѣ каждой строфы: «Боже, помоги намъ». Это не легенда, не сказка; извѣстно имя рыцаря, запѣвавшего пѣснь о Роландѣ. Итакъ, черезъ двѣсти лѣтъ послѣ своей смерти, Роландъ вливалъ героизмъ въ сердца французскихъ воиновъ. Пѣснь о немъ и гораздо позднѣе, до XIV вѣка включительно, была воинственнымъ гимномъ французовъ, за которымъ слѣдовалъ страшный нѣкогда кличъ: «Montjoie St.-Denis...» Очевидно, Роландъ былъ личностью, превосходящей обыкновенный уровень. И что же, однако! Все это величіе сообщено было Роланду фантазіей труверовъ, все влияние его на французскихъ воиновъ въ продолженіе пяти вѣковъ, равно какъ и дошедшая до насъ его слава, — все это дѣло поэзіи. Такъ говоритъ французскій ученый, г. Вите, специально изслѣдовавшій исторію «Пѣсни о Роландѣ» и ея героѣ. Единственное, что имѣемъ мы вѣрнаго, несомнѣннаго, фактическаго объ этомъ героѣ древней Франціи, это слѣдующія слова Эгингарда о Ронсевальскомъ сраженіи: «Въ



этомъ сраженіи пали королевскій стольникъ (?) Эггигардъ, пфальцграфъ Ансельмъ и правитель Бретани Роландъ»<sup>5)</sup>. Вотъ какъ самоуправствуетъ поэзія въ отдаленныхъ, не освѣщенныхъ исторіей эпохахъ! Вотъ какъ возвела она въ герои, въ образецъ доблестей человѣка совершенно, повидимому, зауряднаго, ничѣмъ, повидимому, не отдѣляющагося отъ какого-то пфальцграфа Ансельма, никому неизвѣстнаго, и отъ Эггигарда, коего и самое званіе представляется недо-разумѣніемъ!

А между тѣмъ, можно ли упрекать неизвѣстныхъ поэтовъ IX и X вѣка за то, что они такъ насмѣялись надъ правдой и такъ идеализировали Роланда? Вѣдь, они сдѣлали изъ этого Роланда идеалъ, подражать которому старался всякій порядочный человѣкъ того времени! Вѣдь, это имя электризовало людей въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ! Имъ гордилась Франція, а мыслители другихъ странъ, указывая на Роланда, говорили: «Вотъ какихъ людей производила Франція въ IX вѣкѣ, въ то время какъ «древляне живяху звѣриньскимъ образомъ» и когда сами князья наши ходили босикомъ, въ рубашкѣ сверхъ портовъ... А изъ этого естественно было вывести заключеніе, что славянская раса есть раса низшаго сорта, не имѣющая задатковъ для общечеловѣческой жизни, для міровой роли, и лишь постольку способная къ культурѣ, поскольку она въ состояніи усвоить чужія понятія»<sup>6)</sup>. Замѣтимъ при этомъ и еще одно обстоятельство. Эти идеализированные Роланды и Жанны д'Аркъ, эти легендарные Вильгельмы Телли держались въ Западной Европѣ до послѣдняго времени, благодаря издревле сложившемуся понятію, что поэзія и сама исторія должны паче всего возбуждать въ людяхъ возвышенныя чувства и національное самоуваженіе. У насъ это понятіе не успѣло утвердиться; едва Карамзинъ успѣлъ напечатать свою «Исторію», какъ уже появились обвиненія въ томъ, что онъ идеализируетъ нашу старину, а затѣмъ и начались попытки изобразить ее въ болѣе реальномъ видѣ, упразднить Ивановъ Сусаниныхъ, «развѣнчать» князей, собирателей земли. И вотъ, оборванные и упрощенные образы нашихъ прадѣ-

<sup>5)</sup> Роландъ, перев. Б. Алмазова, предисловіе.

<sup>6)</sup> Эта мысль положительно высказана Бѣлинскимъ, см. его сочиненія (Москва, 1866. Т. V).

довъ и пращуровъ вамъ приходится сопоставлять съ идеализированными образами людей Запада, а слѣдовательно, конфузиться за свое прошедшее, скептически смотрѣть на свое будущее и отрещиваться отъ своей національной личности... Можетъ-быть, это не единственная причина той нравственной приниженности нашей, о которой, слава Богу, сильно заговорили въ послѣднее время, но она, безъ сомнѣнія, много содѣйствовала ей; а сколько зла причинила намъ эта нравственная приниженность, о томъ страшно и подумать!..

Вотъ тѣ соображенія, въ силу которыхъ слѣдуетъ отклонить дѣлаемый графу Толстому упрекъ въ идеализаціи нашей старины. Напротивъ, мы горячо благодаримъ его за это. Поэтъ не историкъ; и ужъ если мы не находимъ въ современномъ быту нашемъ ничего такого, чему стоило бы поклониться, то постараемся, по крайней мѣрѣ, не заковать тѣхъ отдаленныхъ эпохъ, которыя освѣтить хорошенько исторія не въ состояніи. Французы, разрушившіе памятники Наполеону I, не коснулись еще статуи Жанны д'Аркъ; швейцарцы и не думаютъ низводить Вильгельма Телля съ его легендарнаго пьедестала, а нѣмцы и до сего времени продолжаютъ ставить памятники своимъ полумифическимъ героямъ и выводить ихъ на сцену.

Теперь вамъ предстоитъ, слѣдуя за вашимъ поэтомъ, перейти въ другую сферу, въ высшій міръ духовный, въ область религіи. Искусство и наука—преддверія этого высшего изъ міровъ, доступнаго человѣческому созерцанію. Разумѣется, мы говоримъ не о той наукѣ, которая изготавляется сотрудниками иныхъ журналовъ по столыку-то съ листа, и не о томъ искусствѣ, представителемъ котораго былъ человѣкъ, поставлявшій ежедневно по масляному портрету покойнаго государя... Замѣтимъ, однако, что наука нерѣдко возбуждаетъ до крайнихъ предѣловъ самомнѣніе ума. Не всѣ умы достаточно трезвы, чтобъ остановиться на чертѣ, указываемой знаменитымъ Пастеромъ: «Что находится за этимъ звѣзднымъ небомъ?—Новыя звѣздныя небеса.—«Хорошо, а за ними?..» Искусство не рискуетъ запутаться въ этихъ неразрѣшимыхъ вопросахъ; оно не можетъ задаться мыслію—занять мѣсто Бога. Напротивъ того, изъ представлений, «какія человѣчество» составляло о Божествѣ на разныхъ ступеняхъ своего развитія, оно почер-

пало и почерпаетъ донинѣ лучшія свои вдохновенія. Лучшія свои вдохновенія почерпнулъ и графъ Толстой изъ того же источника: самые цѣнные его литературные перлы (по крайней мѣрѣ, въ двухъ томахъ его «стихотвореній») суть «Грѣшница» и «Іоаннъ Дамаскинъ». Да и въ его «Донъ-Жуанѣ» самое замѣчательное, самое оригинальное, это—тотъ отблескъ религіозности, который скользитъ по этому произведенію, такъ рѣзко отличая концепцію нашего поэта отъ байроновой, моцартовой да и отъ самой легенды о Донъ-Жуанѣ. Впрочемъ, не только три названные пьесы, всѣ стихотворенія графа Толстого, такъ-сказать, стоятъ на фундаментѣ религіозномъ; въ нихъ нѣтъ ни мысли ни слова, способныхъ смутить христіанина. У него поэзія нераздѣльна съ религіей; религія его проникнута поэзіей.

Горними тихо летѣла душа небесами,  
Грустныя долу она опускала рѣсницы;  
Слезы въ пространство отъ нихъ упадая звѣздами,  
Свѣтлой и длинной вилися за ней вереницей.  
Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:  
«Что ты грустна? и о чемъ эти слезы во взорѣ?»  
Имъ отвѣчала она: «Я земли не забыла,  
Много оставила тамъ я страданья и горя.  
Здѣсь я лишь лицамъ блаженства и радости внемлю,  
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби ни злобы.  
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,—  
Было бѣ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы!»

Какая картина, какая поэзія, а главное,—какое высокохристіанское чувство изъ чертоговъ вѣчной радости и свѣтлаго блаженства стремиться въ обитель слезъ и скорби, ибо тамъ нуждаются въ утѣшеніи! Просимъ замѣтить эту черту, характеризующую религіозность графа Толстого. Любовь, любовь всеобъемлющая, любовь и къ человѣку, и ко всему живущему, и къ мертвой природѣ, занимаетъ въ ней первенствующее мѣсто. Не столько могущество Творца міровъ останавливаетъ на себѣ мысли графа Толстого, но та красота, гармонія и любовь, которыя изъ источника ихъ, Творца вселенной, изливаются на твореніе:

Когда Глагола творческая сила  
Толпы міровъ воззвала изъ ночи,  
Любовь ихъ всѣхъ, какъ солнце, озарила...

— Зато и мы,—говоритъ поэтъ,—въ каждой частицѣ мірозданія



Мы ловимъ отблескъ вѣчной красоты.  
 Намъ вѣстью лѣсъ о ней шумитъ отрадной,  
 О ней потокъ гремитъ струею холодной,  
 И говорятъ, качаяся, цвѣты...

А наступить минута, и вмѣсто того, чтобы жадно ловить эти разсыянные въ мірозданіи частицы красоты, гармоніи и любви,—«въ одну любовь мы всё сольемся»,

Въ одну любовь, широкую какъ море,  
 Что не вмѣстятъ земные берега.

И много другихъ еще мѣсть изъ сочиненій графа Толстого можно было бы привести на эту тему. Вездѣ Божество изображается имъ какъ вмѣстилище и источникъ правды, добра, красоты, любви. Помните ли, какими чертами графъ Толстой характеризуетъ въ своей «Грѣшницѣ» обликъ Христа?

Такихъ очей благихъ и ясныхъ  
 Никто не видѣлъ никогда.

Но этого мало: посмотрите, какую и какого рода силу имѣлъ взоръ этихъ очей. Вы думаете, онъ испепелилъ безумную гетеру, дерзнувшую вызывать его? Нѣтъ:

... былъ тотъ взоръ, какъ лучъ денницы—  
 И все открылося ему,  
 И въ сердцѣ сумрачномъ блудницы  
 Онъ разогналъ ночную тьму.  
 И все, что было тамъ таймо,  
 Въ грѣхъ что было свершено—  
 Въ ея глазахъ неумолимо  
 До глубины озарено.  
 Внезапно стала ей понятна  
 Неправда жизни святотатной,  
 Вся ложь ея пороковъ дѣлъ—  
 И ужасъ ея овладѣлъ...  
 . . . . .  
 И въ первый разъ, гнушаясь зла,  
 Она въ томъ взорѣ благодатномъ  
 И кару днямъ своимъ развратнымъ  
 И милосердіе прочла.

Въ сочиненіяхъ графа Толстого религіозное чувство перерождено со всеми проявленіями жизни, оно нераздѣльно съ жизнью, оно является однимъ изъ главныхъ факторовъ жизни; оно передѣлываетъ человѣческія натуры, оно перерождаетъ людей. Въ «Грѣшницѣ», впрочемъ, перерожденіе совершается сверхъестественнымъ образомъ и, слѣдовательно,

не поддается анализу; но мы можем прослѣдить подобное перерожденіе въ другихъ сочиненіяхъ графа Толстого. Возьмемъ, напримѣръ, «Пѣснь о походѣ Владимира на Корсунь». Владимиръ, выслушавъ «цареградскаго мниха», рѣшается креститься и именно въ греческомъ городѣ Корсунѣ. Но Владимиръ еще язычникъ по своимъ понятіямъ. Монахъ рекомендуетъ ему смиреніе:

«Смирюсь,—говоритъ ему князь,—я готовъ;  
Но только смирюсь безъ урона».

Онъ снаряжаетъ флотъ изъ 1,000 струговъ и, являсь подъ стѣнами греческаго города, посылаетъ сказать:

«... Я здѣсь!  
Сдавайтесь, прошу васъ смиренно,  
Не то,—не взыщите,—собью вашу спесь,  
И городъ по камнямъ размыкаю весь:  
Креститься хочу непременно».

Легко вообразить себѣ, какъ принято было корсунцами «благочестивое» желаніе русскаго князя! Они говорятъ:

Настала какъ есть христіанамъ бѣда:  
Пріѣхалъ Владимиръ креститься!

Эту «бѣду» мѣстный сенатъ рѣшается отклонить уступкой на всѣ требованія страшнаго охотника креститься. «Ну то-то», говоритъ Владимиръ и вступаетъ въ Корсунь. Пріѣзжаетъ по его «смирненному» требованію греческая царевна, и Владимиръ соглашается принять крещеніе:

Крестите жъ, отцы іереи, меня,  
Да чуръ, по уставу крестите!

Но вотъ проходитъ нѣсколько времени—и въ душѣ и въ понятіяхъ Владимира совершается перемѣна. Прослѣдить за нею для насъ въ высшей степени интересно. Владимиръ уже христіанинъ; надъ нимъ совершается таинство благодати, и помощникомъ его является прирожденное «кіевскому князю ласковому» чувство красоты. Весна!

Ужъ въ Кіевѣ, чаю, поютъ соловьи,  
И въ рощахъ запахло весною,

говоритъ Владимиръ и велитъ спускать струги для обратнаго похода. Онъ плыветъ на своихъ стругахъ вверхъ по Днѣпру со своею княгиней, со своею дружиной, съ греческимъ духовенствомъ; пѣсни гребцовъ смѣняются иногда

церковнымъ пѣніемъ; чувство красоты смѣняется чувствомъ болѣе строгимъ; уже не о кievскихъ соловьяхъ думаетъ Владимиръ, а о своей Руси, о новомъ предстоящемъ ему въ Кіевѣ подвигѣ. И вотъ, вдали показывается «Кіевъ-градъ».

Владимиръ съ княжого сѣдалища всталъ,  
Прервалось весельщиковъ пѣнье,  
И мигъ тишины и молчанья насталъ.

Какъ сонъ, вся минувшая жизнь пронеслась,  
Почуялась правда Господня,  
И брызнули слезы впервые изъ глазъ,  
И мнится Владимиру: въ первый онъ разъ  
Свой городъ увидѣлъ сегодня.

И палъ на дружину Владимира взоръ:  
— Вамъ, други, доселѣ со мною  
Стяжали побѣды лишь мечъ да топоръ,  
Но время настало, и мы съ этихъ поръ  
Сильны еще силой иною.

Дни правды дороже воинственныхъ дней!  
Гребите же, други, гребите сильнѣй,  
На весла дружиѣй налегайте!

— И, — говорить поэтъ въ заключеніе, — князь на берегъ вышелъ «душой возрожденъ» и внесъ милосердіе въ старый законъ нашъ. — Чѣмъ совершенно было это возрожденіе — вы угадываете. Въ жизнь Владимира-Красное-Солнышко, но Владимира-язычника, вошло новое начало; въ него проникъ строй совершенно новыхъ понятій; онъ уразумѣлъ «смиреніе» не такъ, какъ разумѣлъ предъ отъѣздомъ въ Корсунь. Онъ распускаетъ своихъ «чехинъ» и «трекинъ»; онъ не рѣшается отнять жизнь у завѣдомыхъ злодѣевъ; это все та же симпатичная натура, тотъ же «князь ласковый», но уже просвѣтленный, получившій способность возноситься духомъ къ источнику любви и правды.

Еще съ большею рельефностью изображена дѣйственная сила религіи въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ». Но здѣсь мы должны сдѣлать небольшое отступленіе.

Намъ доводилось слышать отъ людей уваженія достойныхъ неодобреніе тому, что графъ Толстой избралъ такого великаго святого, какъ Дамаскинъ, предметомъ поэмы, подобно какъ и Донъ-Жуана, Алешу Поповича и т. п. Іоаннъ Дамаскинъ, Владимиръ Равноапостольный, вообще, всѣ при-



чтенные къ лику святыхъ не должны-де быть выводимы предъ публикой въ качествѣ героевъ поэмъ, драмъ и романовъ. Такое воззрѣніе серьезно, но противъ него можно выставить много воззрѣній. Оно еще недавно господствовало у насъ; коснуться чего-либо, имѣющаго хотя бы и не близкое отношеніе къ религіи, считалось и донинѣ считается многими для свѣтскаго человѣка непозволительнымъ, какъ бы кощунственнымъ. Признавалось, что лучше вовсе молчать о предметахъ религіозныхъ, нежели говорить о нихъ не безусловно ортодоксальнымъ образомъ. Къ чему же, однако, это привело? Къ тому, что свѣтская литература совершенно отдѣлилась отъ духовной; что до недавняго времени дѣятели и читатели послѣдней вовсе не вѣдали, въ сферѣ какихъ понятій вращается свѣтское общество; что, съ другой стороны, свѣтскимъ людямъ книги специально духовнаго содержанія не попадались на глаза; что они, съ теченіемъ времени, отвыкли отъ чтенія всего, имѣющаго какое-нибудь отношеніе къ религіи. Съ этими черезчуръ охранительными вліяніями заодно дѣйствовали вліянія противоположныя. Многіе стали съ особеннымъ удовольствіемъ умалчивать о всемъ, касающемся религіи. Наши учебники исторіи литературы стали лишь вскользь упоминать, начиная съ XVIII вѣка, о сочиненіяхъ духовнаго содержанія; Костровымъ, Ефимовымъ, Херасковымъ отводилось не менѣе мѣста, чѣмъ митрополиту Платону. Въ одномъ весьма распространенномъ и, впрочемъ, почтенномъ руководствѣ говорится о Карамзинѣ на 129 страницахъ, а о Филаретѣ московскомъ лишь на восьми...

Какая могла бы быть тому причина, это до насъ въ настоящую минуту не касается. Во всякомъ случаѣ, причинъ было много, а совокупность ихъ можно назвать духомъ времени. Но какъ бы то ни было, въ концѣ-концовъ, наше общество раздѣлилось на два вполне чуждые другъ другу стана: съ одной стороны, люди, занимающіеся дѣлами религіи, до которыхъ и до которой остальнымъ нѣтъ дѣла, а съ другой—люди, занимающіеся всѣмъ, кромѣ религіи, которой поэтому они и не должны, не смѣютъ касаться... Но, возражаютъ намъ, нельзя же позволить толковать вкривь и вкось о дѣлахъ, касающихся религіи! Нельзя позволить кощунствовать! Отвѣчаемъ: добросовѣстные ошибки, неточности могутъ быть исправлены, и, во всякомъ случаѣ, онѣ не влекутъ за

собою и сотою части того зла, какое происходитъ отъ умерщвления въ обществѣ религіознаго нерва. А у насъ много сдѣлано для того, чтобъ его парализовать. Поэтому мы весьма далеки отъ осужденія графа А. К. Толстого за то, что онъ говорить о нашемъ Владимирѣ иногда съ улыбкой, изображаетъ его въ разнообразныхъ проявленіяхъ его домашняго быта, — то расчесывающимъ бороду для встрѣчи своей невѣсты, греческой царевны, то «думающимъ» съ кievскими стариками, то съ привѣтливымъ поклономъ отпускающимъ веселившихся у него гостей, то лукаво посмѣивающимся надъ молодыми витязями, женихами княженъ Владимировенъ, вздумавшими мистифицировать стараго князя. Мы весьма далеки отъ осужденія за это нашего поэта потому, во-первыхъ, что онъ, собравъ разсѣянные въ лѣтописяхъ и былинахъ черты Владимира, создалъ изъ нихъ самую симпатичную въ нашей исторіи личность. Что былъ для насъ Владимиръ, прежде чѣмъ возсоздалъ его графъ Толстой? Существо безъ опредѣленнаго образа, подобно десяткамъ его преемниковъ, современниковъ и предшественниковъ. Мы знали, конечно, что онъ крестилъ кievлянъ, такъ же какъ знали, что другіе князья побѣждали половцевъ или печенѣговъ, а другіе издавали законы, строили монастыри и города; мы знали о немъ и еще, пожалуй, кое-что, но все же Владимиръ не особенно занималъ наше воображеніе, и личность его не представлялась намъ въ очень опредѣленныхъ чертахъ. А теперь нашъ русскій апостолъ сталъ для многихъ десятковъ тысячъ читателей графа Толстого личностью живою, въ высшей степени сочувственною, близкою; имъ естественно пожелать познакомиться и съ церковными преданіями объ этомъ привѣтливомъ, ласковомъ князѣ, и вотъ, мало-по-малу, рушится стѣна, возведенная прискорбными недоразумѣніями, между людьми свѣтскими и духовенствомъ, между интересами идеальными и практическими...

Съ этой же точки зрѣнія мы смотримъ и на поэму графа Толстого «Іоаннъ Дамаскинъ». Можно сказать съ увѣренностью, что въ средѣ нашей читающей публики девяносто девять изъ ста не имѣли вѣрнаго понятія объ этомъ своего рода «Златоустѣ». Намъ, конечно, не чуждо его имя; мы видали и изображеніе Дамаскина въ картинныхъ галлерейхъ; что-то осталось о немъ у насъ и изъ учебника «Исторіи Церкви»... Да, точно: онъ жилъ въ Дамаскѣ, его имя какъ-то

связано съ исторіей иконоборства... И вотъ, графъ Толстой ставитъ его передъ нами живьемъ, со всеми атрибутами реальности, но и въ ореолъ святого подвижничества. Какая высокая, почти божественная личность! Но дѣйствительно ли она такова, какою изобразилъ ее поэтъ? Увы, на этотъ вопросъ свѣтская наука не даетъ отвѣта; мы принуждены просить знакомаго священника одолжить вамъ «Четьи-Минеи»... «Четьи-Минеи»! Достопочтенный читатель, вы, конечно, не читали этой книги, такъ позвольте же засвидѣтельствовать, что, по справкѣ съ нею, личность Іоанна Дамаскина оказывается именно такою, какою изобразилъ ее графъ Толстой. Это былъ человѣкъ, необыкновенно щедро надѣленный природою: въ немъ совмѣщались художникъ съ его идеальными стремленіями и человѣкъ практическій, иначе онъ не могъ быть сотрудникомъ, правою рукой дамасскаго калифа. Но стремленія духовныя берутъ мало-по-малу въ немъ верхъ надъ земными попеченіями. Онъ принимаетъ участіе въ полемикѣ противъ иконоборцевъ и, наконецъ, рѣшается посвятить исключительно Богу все свои помышленія, отказывается отъ власти и милостей своего государя, раздастъ нищимъ все свое огромное состояніе и удаляется въ монастырь св. Саввы близъ Іерусалима. Тамъ, дѣйствительно, на него налагаютъ подвигъ молчальничества съ цѣлью смирить предполагаемое въ немъ самомнѣніе; онъ нарушаетъ этотъ уставъ такъ точно, какъ рассказываетъ графъ Толстой, и пишетъ тѣ превосходные похоронные тропарі, полные поэзіи и глубокаго религіознаго чувства, которые нашъ поэтъ переложилъ съ неподражаемымъ совершенствомъ.

Таковъ сюжетъ знаменитой поэмы графа Толстого. Нѣтъ сомнѣнія, что она задумана совершенно самостоятельно, что авторъ ея, какъ истинный художникъ, не думалъ доказать ею что-нибудь или научить чему-нибудь. Но мы только-что высказали наши мысли по поводу «Пѣсни» о крещеніи св. Владимира, а нѣкоторыя сопоставленія этой «Пѣсни» съ «Іоанномъ» напрашиваются неудержимо. И Владимиръ и Іоаннъ по натурѣ своей, по своимъ вкусамъ—художники. Графъ Толстой говоритъ, что Владимиръ стосковался въ Корсунѣ по кievскимъ соловьямъ. Въ другомъ мѣстѣ поэтъ влагаетъ ему въ уста слѣдующія слова:

..... Что жъ нѣтъ пѣвцовъ?

Безъ нихъ мнѣ и пиръ не отрада!



Да, такимъ изображаютъ Владимира и народное творчество и исторія. Что касается Дамаскина, то графъ Толстой съ полнымъ правомъ называетъ его «пѣвцомъ» и не безъ основанія, можетъ-быть, намекаетъ, что, отстѣивая иконы, Іоаннъ защищалъ и искусство. Такимъ образомъ, графъ Толстой подтверждаетъ ту несомнѣнно вѣрную мысль, что искусство близко къ религіи и живетъ ею. Далѣе. Мы видѣли въ «Пѣснѣ» о крещеніи Владимира быстрыми, но вѣрными штрихами набросанный процессъ внутренняго перерожденія язычника въ христіанина; въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ» изображается дальнѣйшій процессъ нравственнаго совершенствованія. Здѣсь изображеніе полнѣйшаго торжества духа надъ матеріей, надъ благами земными. Здѣсь же и широкій, безбрежный разливъ любви ко всему сущему:

Благословляю васъ, лѣса,  
Долины, нивы, горы, воды,—  
Благословляю я свободу  
И голубыя небеса,—

восклицаетъ Іоаннъ, оставивъ Дамаскъ и вступивъ въ пустыню,

И посохъ мой благословляю,  
И эту бѣдную суму,  
И степь отъ края и до края,  
И солнца свѣтъ, и ночи тьму,  
И одинокую тропинку,  
По коей, нищій, я иду,  
И въ полѣ каждую былинку,  
И въ небѣ каждую звѣзду!  
О, если бѣ могъ всю жизнь смѣшать я,  
Всю душу съ вами вмѣстѣ слить!  
О, если бѣ могъ въ мои объятья  
Я васъ, враги, друзья и братья,  
И всю природу заключить!..

У насъ много стали въ послѣднее время говорить и писать о томъ, что отдѣльный человѣкъ обязанъ приносить жертвы для общаго блага. Прекрасно, но отчего же примѣры принесенія такихъ жертвъ довольно рѣдки, а случаи принесенія общественныхъ интересовъ въ жертву частнымъ очень часты и какъ-будто становятся все чаще? Не оттого ли, что проповѣдь о самопожертвованіи во имя общаго блага не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ направленіемъ мыслей нашихъ, какое имъ сообщаютъ духъ времени, современная фи-

лософія? Едва ли кто-нибудь въ состояніи доказать, что позитивизмъ или матеріализмъ располагають людей къ самопожертвованію, къ отреченію отъ власти, къ раздачѣ своего богатства неимущимъ и къ этой всеобъемлющей любви, которая сокрушается, что ей нечѣмъ болѣе жертвовать. Но этого мало. Возникаетъ слѣдующій вопросъ: ты отвергъ земныя блага для служенія высшимъ интересамъ духа и, кромѣ того, ты оказалъ важную услугу святому дѣлу, которому ты служишь. Все это прекрасно. Но не возгордился ли ты? Не вообразилъ ли себя выше другихъ? Не забылъ ли, что высокій умъ и могущественно дѣйствующее слово суть блага, тебѣ данныя, а не тобою созданныя?.. Читатель знаетъ, что и эта часть преданія объ Іоаннѣ Дамаскинѣ вошла въ поэму графа Толстого. Но не о поэмѣ теперь идетъ рѣчь, а о томъ, что въ сферѣ вопросовъ нравственныхъ нѣтъ границъ; ставъ на путь самоусовершенствованія, человѣкъ можетъ идти впередъ. И онъ не обманетъ, этотъ путь, и обмануть не можетъ.

Можетъ ли графъ Толстой быть названъ народнымъ русскимъ писателемъ?.. Вотъ вопросы, на которые чрезвычайно трудно отвѣтить. Надъ разрѣшеніемъ вопроса, какія именно качества писателей и какія характеристическія черты писанія даютъ имъ право называться народными, бьются наши критики и мыслители лѣтъ сорокъ, если не больше, и все-таки не пришли къ его разрѣшенію. Казалось бы, кого наиболѣе читають, тотъ и народный писатель. Въ принципѣ это такъ и есть; никто въ Германіи не усомнится назвать Шиллера народнымъ поэтомъ, но у насъ это наименованіе пришлось бы дать, можетъ-быть, Ефрему Сирину или другому отцу церкви, едва извѣстному лишь по имени образованнымъ классамъ. У насъ нѣтъ писателя, котораго читали бы и въ раззолоченной гостиной и въ крестьянской хатѣ. Пушкинъ популярнѣе всѣхъ, но и онъ не проникъ въ народную толщу. Итакъ, жизнь не разрѣшила у насъ окончательно поставленнаго вопроса, а теорію таскають и треплютъ въ продолженіе полувѣка по всѣмъ направленіямъ. Болѣе полувѣка! Еще Шишковъ и Карамзинъ касались вопроса о народности. И странное дѣло! Вопросъ стоялъ въ концѣ тридцатыхъ и началъ сороковыхъ годовъ совершенно въ томъ видѣ, какъ онъ стоитъ теперь; тогдашніе беллетристы-народники, какъ и нынѣшніе, смѣшивая народность съ простонародностью,

старались усиленно и даже исключительно выводить на сцену мужиковъ, однихъ мужиковъ, и какъ теперь, такъ и тогда литература наша отъ этого ничего не выиграла. Міровоззрѣніе крестьянскихъ массъ, еще болѣе тѣсное 40—50 лѣтъ тому назадъ, чѣмъ теперь, могло доставить романисту такъ мало матеріала, такъ мало разнообразія и красокъ, что ему приходилось выбирать между Сциллой скуки и Харибдой идеализаціи.

Мы думаемъ, что народность литературнаго произведенія состоитъ не столько въ сюжетѣ, сколько въ свойствахъ отношеній автора къ избранному сюжету. Французскія трагедіи du grand siècle были наполнены Тезеями, Поликсенами, Ипполитами, и, однако, въ нихъ не было ничего національнаго греческаго, кромѣ собственныхъ именъ. «Орлеанская дѣва» Шиллера насквозь пропитана старогерманскою мечтательностью и отнюдь не національна, съ французской точки зрѣнія. Сюжеты «Свѣтланы» Жуковскаго и «Чернеца» Козлова заимствованы изъ русской жизни; въ первой изъ этихъ поэмъ описаны святочные игры и гаданья, а во второй описанъ монастырь, встрѣчается возъ со снопами, и, однако, ни та ни другая поэмы не имѣютъ штемпеля русской національности. Не имѣютъ этого штемпеля и тѣ произведенія Державина, напримѣръ, гдѣ рассказывается, какъ

Пляшутъ дѣвушки россійски  
Подъ свирѣлю пастуха.

«Бѣдная Лиза» и «Марѳа-посадница» Карамзина, такъ же какъ «Марьяна роца» Жуковскаго, вовсе лишены русскаго національнаго характера; но въ «Капитанской дочкѣ» и въ «Борисѣ Годуновѣ» онъ кидается въ глаза. Не ясно ли, что не сюжетъ рѣшаетъ вопросъ о народности сочиненія, а отношеніе къ нему автора. Если бы для подтвержденія этой истины нужны были новыя доказательства, можно было бы указать на мемуары, путешествія и цѣлыя сочиненія иностранцевъ о Россіи, иногда дающія весьма выгодное понятіе о добросовѣстности ихъ авторовъ, но и доказывающія полное ихъ непониманіе русскаго національнаго характера,—на этихъ Nadège и Olga, появляющихся въ послѣднее время довольно часто въ романахъ французскихъ авторовъ.

Но если дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерѣ воззрѣній на него автора, въ строѣ его понятій, въ присущихъ ему при-



страстіяхъ и антипатіяхъ, то прежде всего надо опредѣлить, въ чемъ состоятъ особенности національнаго русскаго строя понятій, куда направлены наши національныя симпатіи и антипатіи, а на этотъ-то счетъ мы и не можемъ сговориться. Но сама жизнь начала, кажется, разрѣшать этотъ вопросъ. Мы не разъ уже видѣли, что люди, считавшіе себя народниками или народолюбцами по преимуществу, которые распинались, чтобъ увѣрить крестьянъ въ своемъ къ нимъ участіи и въ притѣсненіи ихъ, крестьянъ, держащими властями, были задерживаемы этими самими крестьянами и представляемы этимъ самымъ властямъ, а изъ этого мы имѣемъ несомнѣнное право заключить, что писатели, возводящіе въ перлъ созданія «Арончиковъ»<sup>1)</sup>, не суть писатели народные по понятію именно той части народа, которая имъ представляется исключительно «народомъ».

Но возвратимся къ графу Толстому. Возсозданная имъ богатырская, дотатарская и особенно кievская Русь даетъ ему, во всякомъ случаѣ, полное право на званіе народнаго поэта. Пусть же попробуетъ возсоздать ее человѣкъ, лишенный нерва народности, человѣкъ, въ жилахъ котораго течетъ не русская кровь! Пусть онъ попробуетъ написать нѣчто такъ проникнутое чувствомъ (не знаніемъ) исторіи и колоритомъ древности, какъ Чужое Горе, Три побоища, Слѣпой, Ушкуйникъ, или хотя и не относящееся прямо къ исторіи, но такое, отъ чего, по выраженію нашихъ старинныхъ сказокъ, «русскимъ духомъ пахнетъ», какъ стихотворенія: Ходить Спесь надувающимся, Коль любить—такъ безъ разсудку, Ой, кабъ Волгаматушка, Ой честь ли то молодцу, Ты невѣдомое, незнаемое и многія, многія другія.

Но тутъ мы натываемся на любопытный вопросъ: какимъ образомъ нервъ народности могъ развиваться въ человѣкѣ, довольно далеко, повидимому, стоявшемъ отъ того, что принято называть народомъ. Къ сожалѣнію, мы имѣемъ мало біографическихъ свѣдѣній о графѣ А. К. Толстомъ. Но его примѣръ, а также примѣръ Пушкина доказываютъ, что можно имѣть душу, открытую народности, не родившись въ крестьянской избѣ и не бѣгая за мужикомъ съ записною

<sup>1)</sup> См. «Наши беллетристы-народники» въ № 4 «Русскаго Вѣстника», 1882 года.

книжкой. Эти примѣры (а къ нимъ можно присоединить множество другихъ) приводятъ къ заключенію, что помѣщичьимъ усадьбамъ вовсе не чуждъ нашъ національный духъ. Графъ А. К. Толстой, кажется намъ, имѣлъ право, какъ его Потокъ-богатырь, сказать: «Я, вѣдь, тоже народъ». Национальному духу чужды только тѣ, кто родились въ большихъ городахъ, особенно въ Петербургѣ, отъ родителей, тамъ же проводившихъ всю жизнь; это люди безпочвенные, это умственный пролетаріатъ. Но наше помѣстное дворянство, за исключеніемъ отдѣльныхъ лицъ, сбившихся съ толку, продолжаетъ жить общенародною жизнью. Какъ во времена Пушкина не было, говоря вообще, антагонизма между усадьбой и деревней, такъ нѣтъ ея и теперь, по большей части. Во многихъ мѣстахъ помѣщикъ остался и теперь, какъ было искони, первымъ радѣтелемъ мѣстнаго храма и защитникомъ противъ мѣстнаго «кулака»; къ женѣ помѣщика тащатся за пособіемъ хворые и немощные, а къ ея дочери бѣгутъ мальчики и дѣвочки съ книжечками подъ мышкой. Несчастіе, постигшее кого-либо на деревнѣ, встрѣчаетъ участіе на господскомъ дворѣ, зато и что-либо чрезвычайное, случившееся въ семействѣ помѣщика, поднимаетъ на ноги всю деревню... А при такихъ условіяхъ, которыя можно подтвердить примѣрами, неудивительно, что живой и впечатлительный «барченокъ» мимовольно и безсознательно пріобрѣтаетъ способность понимать свое народное, понимать его, проникаться имъ, воспроизводить его. Какъ иначе объяснить себѣ, что человѣкъ свѣтскій, придворный могъ написать слѣдующія строки:

Ходить Спесь надуваясь,  
 Съ боку-на-бокъ переваливаясь.  
 Ростомъ-то Спесь аршинъ съ четвертью,  
 Шапка-то на немъ во цѣлу сажень;  
 Пузо-то его все въ жемчугѣ,  
 Сзади-то у него раззолочено.  
 А и зашелъ бы Спесь къ отцу, къ матери,—  
 Да ворота не крашены!  
 А и помодился бы Спесь въ церкви Божіей,—  
 Да полъ не метень!  
 Идетъ Спесь, видитъ — на небѣ радуга;  
 Повернулъ Спесь въ другую сторону:  
 Не пригоже-де мнѣ нагибаться!

Казалось бы, на этомъ можно было покончить о народности графа Толстого; но у насъ этотъ вопросъ смѣшиваютъ со

многими другими, какъ видно изъ словъ рецензента «Дѣла». «Вы не нашъ,—говорить онъ,—потому, во-первыхъ, что грудь ваша не ноетъ «отъ ударовъ и, во-вторыхъ, что наши враги не ваши враги». Оставляя въ сторонѣ первую причину, какъ черезчуръ оригинальную, замѣтимъ, что дѣйствительно ни враги ни друзья «Дѣла» не суть враги и друзья графа Толстого. Мыслители того лагеря, къ которому принадлежитъ этотъ журналъ, закричатъ, конечно: друзья графа Толстого—это старые ретрограды, это—отсталые отъ вымирающаго поколѣнія, а наши друзья—это молодое поколѣніе, это люди будущаго. На это я замѣчу, и притомъ не съ чужихъ словъ, а какъ очевидецъ, что въ одной коротко знакомой мнѣ женской гимназій ученицы слушали Грѣшницю съ напряженнымъ вниманіемъ, а не двусмысленнымъ сочувствіемъ, а во время чтенія Іоанна Дамаскина нѣсколько разъ принимались плакать. А вотъ нѣсколько строкъ изъ письма къ нижеподписавшемуся изъ Петербурга отъ юноши, только что окончившаго курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній: «Въ противность здѣшнимъ обычаямъ мы (съ товарищемъ) сидимъ по вечерамъ дома и читаемъ вмѣстѣ сочиненія графа А. Толстого. Что за прелесть!.. Право, крылья за собою чувствуешь, велушиваясь въ эту русскую, поэтическими порывами и возвышенными помыслами брызжущую рѣчь!» Ужъ въ самомъ дѣлѣ, не поднимается ли на ноги поколѣніе новыхъ людей, людей способныхъ чувствовать художественную красоту, способныхъ возноситься духомъ и быть дѣйствительно людьми своего народа.

Въ добрый часъ, молодые друзья! Выступайте бодро на жизненный путь, и пусть руководителемъ вашимъ будетъ графъ А. Толстой, подобно тому какъ нашимъ былъ Пушкинъ. Правда, онъ не поведетъ васъ съ фонаремъ въ рукѣ по темнымъ закоулкамъ будничной жизни, но онъ сообщитъ вамъ то, что не допустить васъ заблудиться; онъ не дастъ вамъ рецептовъ на тотъ или другой случай, но снабдитъ васъ талисманомъ противъ духовныхъ эпидемій. Въ тѣхъ трехъ словахъ, которые характеризуютъ его поэзію—искусство, религія, народность,—какъ въ зернѣ заключаются всѣ человѣческія и гражданскія доблести. Вамъ много твердили и твердятъ о личномъ достоинствѣ человѣка, о свободѣ мысли и воли, объ обязанности бороться со зломъ, хотя бы оно и было облечено властью: посмотрите же, что говорить



объ этомъ нашъ поэтъ,—тотъ самый поэтъ, который написалъ апофеозъ смиренію въ своемъ Іоаннѣ Дамаскинѣ:

Пусть тотъ, чья честь не безъ укора,  
Страшится мнѣнія людей;  
Пусть ищетъ шаткой онъ опоры  
Въ рукоплесканіяхъ друзей!  
Но кто въ самомъ себѣ увѣренъ,  
Того хвалы не потрясутъ;  
Его глаголь не лицемѣренъ,  
Ему чужой не нуженъ судъ.  
Ни предъ какой землею властью  
Своей онъ мысли не таитъ,  
Не льститъ неправому пристрастью,  
Враждѣ неправой не кадитъ.  
Ни предъ вѣнчанными царями,  
Ни предъ судилищемъ молвы  
Онъ не торгуется словами,  
Не клонитъ рабски головы.  
Друзьямъ въ угодность, боязливо  
Онъ никому не шлетъ укоръ;  
Когда жъ толпа несправедливо  
Свой постановитъ приговоръ,—  
Одинъ, не слѣдуя за нею,  
Предъ тѣмъ, что чисто и свѣтло,  
Дерзаетъ онъ, благоговѣя,  
Склонить свободное чело.

Это гордо, не правда ли? это благородно! Но какъ же понятіе о такой ни передъ чѣмъ не склоняющейся гордости уживается въ одномъ умѣ съ представленіемъ о смиреніи Іоанна Дамаскина, съ апофеозомъ этого смиренія?.. Очень просто. Но для этого надо, чтобы человѣкъ вѣровалъ въ нѣчто высшее, чѣмъ дамаскій калифъ и общественное мнѣніе данной минуты.

П. Щебальскій.

Варшава, 9 января 1883.

## Графъ А. К. Толстой \*).

Съ грустью беремся за перо, чтобы говорить о произведеніяхъ поэта, только что унесеннаго смертию.

Въ короткій періодъ времени это уже вторая незамѣнимая утрата. Умеръ Тютчевъ, поэзія котораго была такимъ прекраснымъ звеномъ между эпохой Пушкина и новымъ литературнымъ движеніемъ сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ; умеръ графъ А. К. Толстой, въ стихахъ котораго отразилось почти все серьезное содержаніе новой нашей поэзіи, всѣ самые живые ея элементы: народность, исторія, гражданскій лиризмъ, гражданская сатира, въ самомъ чистомъ и неопощленномъ значеніи этихъ словъ. Еще чувствуется вся горечь этихъ утратъ, и еще не наступило время для полной оцѣнки всего поэтического достоянія, оставленнаго умолкшими поэтами; это тѣмъ болѣе справедливо по отношенію къ графу Толстому, что изданныя до сихъ поръ и еще не собранныя воедино произведенія его составляютъ только часть всего имъ написаннаго. Другая часть или извѣстна лишь немногимъ въ рукописныхъ спискахъ, или заключается въ посмертныхъ бумагахъ поэта, болѣшая часть которыхъ, будемъ надѣяться, въ непродолжительномъ времени явится въ свѣтъ.

Въ настоящей бѣглой замѣткѣ мы не разчитываемъ дать полную оцѣнку литературной производительности автора Смерти Іоанна Грознаго; къ этой задачѣ мы предполагаемъ приступить, когда будутъ изданы посмертныя его произведенія. Теперь мы хотимъ только припомнить вмѣстѣ съ читателями пройденный имъ поэтическій путь, освѣжить

\*) «Русскій Вѣстникъ», 1875 г., № 11.

впечатлѣнія, нѣкогда испытанныя всѣми нами за вдохновенными его страницами, и указать, насколько это возможно въ бѣгломъ очеркѣ, на основные элементы его поэзіи.

Графъ Толстой выступилъ на поэтическое поприще сравнительно поздно. Его талантъ, какъ и талантъ Тютчева, созрѣлъ тайно, въ сторонѣ отъ публики. Подобно Тютчеву, онъ выступилъ прямо съ тѣми звуками, которые продолжали звенѣть въ его поэзіи до конца. Обстоятельство это имѣетъ вовсе не случайное значеніе. Оно близкимъ образомъ связано съ характеромъ и внутреннимъ содержаніемъ его поэзіи. Поэтический даръ не былъ у него раздраженіемъ молодости, опадающимъ вмѣстѣ съ зрѣлостью мысли; онъ не былъ только формой, къ которой обращаются начинающіе писатели, для того чтобы перейти затѣмъ къ прозѣ. Поэзія была самымъ существеннымъ элементомъ въ талантѣ графа Толстого, она явилась ему вмѣстѣ съ его зрѣлостью и сохранила до конца свою свѣжесть, свою силу и свою неотдѣлимость отъ натуры поэта. Отсюда, если мы не ошибаемся, вытекаетъ главная особенность его поэзіи: ея необычайная серьезность, внутренняя, всепроникающая, сквозящая въ самой шуткѣ. О чемъ бы ни говорилъ графъ Толстой, какой бы тонъ онъ ни взялъ, вы всегда чувствуете, что это говоритъ совершенно взрослый человѣкъ. Онъ какъ бы миновалъ всѣ тѣ ступени, по которымъ писатель достигаетъ зрѣлости и на срединѣ которыхъ иногда останавливаются тѣ, у кого стихотворная форма вызывается лишь потребностями молодой фантазіи и молодого чувства. Такъ, между прочимъ, область эротической поэзіи осталась совершенно чуждою графу Толстому, за исключеніемъ двухъ-трехъ антологій, заимствованныхъ изъ посторонняго источника. Мы не хотимъ сказать, чтобы талантъ графа Толстого явился уже совсѣмъ созрѣвшимъ, въ своемъ послѣднемъ воплощеніи; напротивъ, въ немъ явственны слѣды постепеннаго развитія, внутренняго и техническаго; но особенностью его слѣдуетъ признать то, что и въ самыхъ раннихъ, сравнительно слабыхъ произведеніяхъ слышится голосъ взрослого человѣка, еще не овладѣвшаго вполне стихотворною формой, еще не умѣющаго вполне свободно выражаться на новомъ языкѣ, но уже являющаго созрѣвшіе, серьезные и строгіе вкусы. Темы графа Толстого постоянно однородны, принадлежать одному и тому же кругу идей, одному и тому же человѣческому возрасту.



Мы живо помнимъ впечатлѣніе, какое произвела восемь лѣтъ назадъ неожиданно появившаяся книжка стихотвореній графа Толстого. Эти стихотворенія, печатавшіяся до тѣхъ поръ въ разныхъ журналахъ, преимущественно въ эпоху полнаго равнодушія общества къ литературнымъ интересамъ, были замѣчены лишь немногими, и имя автора почти не пользовалось никакою извѣстностью. И вдругъ является цѣлый томъ стихотвореній, изъ которыхъ не всѣ были одинаково сильны, но всѣ очень самобытны и совершенно чужды того отпечатка дѣланности, который непремѣнно проглядываетъ у профессиональныхъ поэтовъ. Между этими стихотвореніями было нѣсколько такихъ, которыя являли огромный, зрѣлый, содержательный талантъ и должны были тотчасъ занять мѣсто въ русской поэзіи. Впечатлѣніе было сильное, подготовленное неожиданностью самаго факта. Всѣ поняли, что немногочисленная семья русскихъ поэтовъ обогатилась новымъ, оригинальнымъ и сильнымъ дарованіемъ, сразу занявшимъ въ литературѣ опредѣленное и, прибавимъ, совершенно уединенное мѣсто.

Время было, какъ припомнятъ читатели, не особенно благоприятное для появленія новыхъ талантовъ. Общество уже пережило какъ увлеченіе раздражающими и страстными мелодіями поэтовъ пятидесятихъ годовъ, воспитавшихся на Гейне, такъ и увлеченіе новыми псевдо-гражданскими мотивами гг. Некрасова, Розенгейма и пр. Связь между русскою публикой и наличными поэтическими дарованіями, повидимому, была порвана. Поэты сами чувствовали невыгодное давленіе общественныхъ вкусовъ и лишь изрѣдка, неохотно и неувѣренно прерывали свое молчаніе. Серьезный голосъ слышался не часто. Хомяковъ умолкъ, Тютчевъ готовился умолкнуть. Въ публикѣ чувствовалось броженіе; она готова была глумиться надъ своими прежними литературными кумирами, сознавая въ то же время совершенную невозможность оставаться въ насыщенной всякими гнилыми испареніями пустотѣ, въ которую бросило ее движеніе начала шестидесятихъ годовъ. Въ такую эпоху новый поэтъ, являющійся съ перепѣвами уже исчерпанныхъ мотивовъ, никѣмъ не былъ бы замѣченъ. Чтобы приобрести публику, надо было удовлетворить потребности живыхъ, свѣжихъ и самобытныхъ поэтическихъ струй, которыя крылись подъ видимымъ равнодушіемъ общества къ художественнымъ интересамъ.

Съ такими живыми, самобытными струями и явился графъ Толстой. Среди всеобщаго броженія, среди пустоты, среди всеобщей неувѣренности въ томъ, что ложно и что дѣйствительно, раздался чистый, ясный голосъ, исходящій изъ такого же чистаго, яснаго и несомнѣвающагося въ себѣ самомъ чувства. Объ этомъ чувствѣ сказалъ самъ поэтъ:

... Въ безпредѣльное влекома,  
 Душа незримый чуетъ міръ,  
 И я не разъ подъ голосъ грома,  
 Быть-можетъ, строилъ свой псалтирь.

Эта близость къ безпредѣльному не разрывала связи поэта съ воспитавшею и окружающею его дѣйствительностью, но сообщала его поэзіи то чистое сіяніе, которымъ вся она озарена: «Я не чуждъ и здѣшней жизни», говоритъ онъ въ томъ же стихотвореніи и продолжаетъ:

Но все, что чисто и достойно,  
 Что на землѣ случилось стройно,  
 Для человека то ужель,  
 Въ тревогѣ вѣчной мірозданья,  
 Есть грань высокаго призванья  
 И окончательная цѣль?  
 Нѣтъ, въ каждомъ шорохѣ растенья  
 И въ каждомъ трепетѣ листа  
 Иное слышится значенье,  
 Видна иная красота!  
 Я въ нихъ иному гласу внемлю,  
 И, жизнью смертнаго дыша,  
 Гляжу съ любовію на землю,  
 Но выше просится душа...

Почти то же говорили многіе поэты, но немногіе могли сказать это съ такимъ правомъ, какъ графъ Толстой. Струя, бьющая въ его поэзіи, постоянно напоминала о своемъ озаренномъ, прозрачномъ источникѣ. Въ душѣ поэта звучало много струнъ, но громче всѣхъ слышалась струна той нравственной бодрости, которая по духу роднила его съ Пушкинымъ и исходила изъ близости со стихіями народной жизни, вобравшей въ себя живучую силу православія. Опять надо сказать, что многіе, вмѣстѣ съ графомъ Толстымъ и раньше его, обращались къ этому свѣжему и чистому источнику, но немногіе умѣли, какъ и онъ, найти въ народной жизни то бодрящее, свѣтлое, юношеское чувство, ту, можно сказать, хрустальность, которая искрится и звучитъ неподдѣль-

нымъ пафосомъ въ его поэзіи. Напомнимъ хотя бы слѣдующее, небольшое и въ поэтическомъ отношеніи не особенно значительное стихотвореніе:

Коль любить—такъ безъ разсудку,  
 Коль грозить—такъ не на шутку,  
 Коль ругнуть—такъ споряча,  
 Коль рубнуть—такъ ужъ съ плеча!  
 Коли спорить—такъ ужъ смѣло,  
 Коль карать—такъ ужъ за дѣло,  
 Коль простить—такъ всей душой,  
 Коли пиръ—такъ пиръ горой!

На наши глаза, тутъ преимущественно важно то, что въ этомъ стихотвореніи выражается чисто-русская струнка въ самой душѣ поэта, его, такъ-сказать, «натурность», т.-е. именно то, чего болѣе всего недостаетъ нашимъ писателямъ, какъ и всему вообще настоящему поколѣнію. Въ немногихъ, замѣчательно простыхъ по формѣ и выраженію словахъ поэта слышится удалъ, не бравурная, а скорѣе скромно-сердечная, чувствуется тотъ юношескій размахъ, по которому узнаются простые, чисто-русскіе люди. Вообще, о поэзіи графа Толстого слѣдуетъ сказать, что она вобрала въ себя изъ народности только то, что въ ней есть чистаго и серьезнаго, простаго и сердечнаго. Эти элементы просвѣчиваютъ у него даже въ шуткѣ, въ этой умной, милой, благородной и сердечной шуткѣ, въ которой графъ Толстой такъ безконечно отличается отъ большинства нашихъ юмористическихъ стихотворцевъ. Русскіе люди, русская старина, русская природа были удивительно доступны и понятны графу Толстому не только тамъ, гдѣ онъ входилъ прямо въ сказочный русскій міръ или въ жизнь современнаго русскаго простолюдя, гдѣ онъ принималъ на себя внѣшній народный обликъ и выражался народнымъ складомъ, но и тамъ, гдѣ онъ «чувствовалъ» русскую жизнь на высотѣ своего европейскаго, гуманнаго образованія. Русскій пейзажъ рисовался въ его стихахъ иногда съ силою изумительною; невозможно забыть, напримѣръ, слѣдующаго удивительнаго восьмистишія, въ которомъ почти каждое слово принадлежитъ исключительно русской картинѣ и, такъ-сказать, пропитано исключительно русскою краской.

Край ты мой! родимый край!  
 Конскій бѣгъ на волѣ!



Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!  
 Волчій голосъ въ полѣ!  
 Гой ты, родина моя!  
 Гой ты, боръ дремучій!  
 Свистъ полночный соловья!  
 Вѣтеръ, степь да тучи!

Эта картина напоминаетъ тѣ пейзажи великихъ художниковъ, на которыхъ, съ помощью какого-нибудь одинокаго топчгаго деревца, или пустынной груды камней, или просто небрежно растертыхъ желто-сѣрыхъ пятенъ, дается почувствовать всю необъятную ширину ландшафта, весь пустынный просторъ и характерную, могучую красоту его. Тутъ кроется та чудесная тайна поэтического творчества, которую поэтъ самъ объяснилъ въ стихотвореніи: «Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты создатель!»—изъ котораго напомнимъ здѣсь слѣдующія строки:

Много въ пространствѣ невидимыхъ формъ и неслышимыхъ звуковъ,  
 Много чудесныхъ въ немъ есть сочетаній и слова и свѣта,  
 Но передать ихъ лишь тотъ, кто умѣетъ и видѣть и слышать,  
 Кто, уловивъ лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,  
 Цѣлое съ нимъ увлекаетъ созданье въ нашъ міръ удивленный.

Вообще, поэзія никогда не являлась графу Толстому одною только формой, даже тамъ, гдѣ форма сама-по-себѣ представляла уже нѣчто цѣнное по высокой своей художественности. Внутреннее содержаніе, мысль, нравственная задача почти всегда были у него нераздѣльны съ образами и картинами. Наибольшая часть его стихотвореній можетъ быть, по своему нравственному смыслу, названа притчами, хотя самъ онъ присвоилъ это названіе лишь небольшому числу мелкихъ произведеній. Строгая требовательность относительно внутренняго содержанія въ особенности проявляется у графа Толстого въ стихотвореніяхъ народнаго характера. Въ этой весьма распространенной у насъ области поэзіи весьма многіе видятъ въ формѣ какъ бы самостоятельную цѣль произведенія и полагаютъ, что при воспроизведеніи народныхъ мотивовъ и образовъ народной фантазіи нѣтъ надобности высказываться самому поэту. Графъ Толстой менѣе всего напоминалъ тѣхъ почитателей народности, которые, по выраженію Потугина въ «Дымѣ», обращаются къ народу словно пустые сосуды: влейся-молъ въ насъ живая вода. У графа Толстого, въ его такъ-называемыхъ народныхъ произведе-

ніяхъ, въ характерную народную рѣчь и въ народные образы облекалась, обыкновенно, собственная мысль, собственное чувство. Для примѣра укажемъ хотя бы на извѣстное стихотвореніе Пантелей-Цѣлитель, въ которомъ авторъ неожиданно, чрезвычайно ловкимъ поэтическимъ оборотомъ переходитъ къ притчѣ и, наконецъ, къ сатирѣ:

А еще, государь,  
(Чего не было встарь)  
И такіе межъ насъ попадаются,  
Что лѣченіемъ всякимъ гнушаются,  
Они звона не терпятъ гуслирнаго,—  
Подавай имъ товара базарнаго!  
Все, чего имъ не взвѣситъ, не смѣрятъ,  
Все, кричатъ они, надо похерити!  
Только то, говорятъ, и дѣйствительно,  
Что для нашего тѣла чувствительно;  
И приемы у нихъ дубоватые  
И ученье у нихъ гризноватое;  
И на этихъ людей,  
Государь Пантелей,  
Палки ты не жалѣй  
Суковатыя!

Міръ народности у графа Толстого былъ тѣсно связанъ съ міромъ библейскимъ и церковнымъ, и изъ этого послѣдняго онъ заимствовалъ содержаніе двухъ лучшихъ поэмъ своихъ — Грѣшницы и Іоанна Дамаскина. Последняя, по богатству красокъ и необыкновенной поэтичности, не только въ исполненіи, но и въ самой концепціи, безъ сомнѣнія, навсегда сохранить за собою мѣсто въ числѣ лучшихъ созданій нашей поэзіи. Независимо отъ высокой идеи, заключенной въ самомъ сюжетѣ, и отъ колоритности описаній и языка, поэтъ имѣлъ возможность выразить въ этой поэмѣ свой взглядъ на служеніе искусству — взглядъ настолько чистый и прекрасный, что онъ невольно напоминаетъ соотвѣтствующія темы у Пушкина. Замѣтимъ, что, посвятивъ всю свою жизнь поэтическому творчеству, графъ Толстой горячо любилъ свое призваніе и нѣсколько разъ возвращался въ своихъ поэмахъ и балладахъ къ высокому идеалу поэта, неизмѣнно присутствовавшему въ его чувствахъ и мечтахъ. Считаемо уместнымъ напомнить здѣсь нѣкоторыя черты этого прекраснаго идеала, какъ онъ рисуется въ поэтически-священной личности Іоанна Дамаскина:

Въ его груди пылаетъ жаръ,  
 Которымъ зиждется созданье;  
 Служить Творцу Его призванье;  
 Его души незримый міръ  
 Престоловъ выше и порфирь—  
 Онъ не измѣнитъ, не обманетъ—  
 Все, что другихъ влечетъ и манитъ:  
 Богатство, сила, слава, честь,  
 Все въ мірѣ томъ въ избыткѣ есть;  
 А всѣ сокровища природы—  
 Степей безбережный просторъ,  
 Туманный очеркъ дальнихъ горъ,  
 И моря пѣнистыя воды,  
 Земля, и солнце, и луна,  
 И всѣхъ созвѣздій хороводы,  
 И синей тверди глубина,—  
 То все одно лишь отраженіе,  
 Лишь тѣнь таинственныхъ красотъ,  
 Которыхъ вѣчное видѣніе  
 Въ душѣ избранника живетъ.

Далѣе, въ той же поэмѣ мы находимъ стихи:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны  
 Насиліе и гнѣтъ:  
 Она, въ душѣ рожденная свободно,  
 Въ оковахъ не умретъ!

И, наконецъ, переходя изъ этихъ странъ свѣта въ юдолю, гдѣ добро и зло борются въ битвѣ жизни, поэтъ дорисовываетъ свой идеаль слѣдующими прекрасными стихами:

Презрѣнне, други, на пѣвца,  
 Что даръ священный унижаетъ,  
 Что предъ кумирами склоняетъ  
 Красу лавроваго вѣнца!  
 Что гласу истины и чести  
 Внушеніе выгодъ предпочелъ,  
 Что угоженію и лести  
 Безстыдно продалъ свой глаголъ!  
 Изъ вѣка въ вѣкъ звучать готово  
 Ему на казнь и на позоръ  
 Его безсовѣстное слово,  
 Какъ всенародный приговоръ!  
 Но ты, иной взалкавшій пищи,  
 Ты, что молитвою влекомъ,  
 Высокій сердцемъ, духомъ нищій,  
 Живущій мыслью со Христомъ,  
 Ты, что пророческаго взора



Предъ блескомъ міра не склоняль—  
Испить ты можешь безъ укора  
Весь униженія фіаль!

Съ такими идеалами, съ такими творческими средствами, съ такими чертами поэтического дарованія выступилъ графъ Толстой какъ лирическій поэтъ. Не будемъ слѣдить здѣсь за всѣми дальнѣйшими шагами его на этомъ пути, за всѣми цѣнными вкладами, полученными отъ него русскою лирикой. Баллады, притчи, поэмы, напечатанныя имъ въ послѣдніе годы въ «Русскомъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ Европы» и въ «Гражданинѣ», всѣмъ хорошо извѣстны и памятны. Поэтъ остался въ нихъ совершенно вѣренъ тѣмъ элементамъ, съ которыми выступилъ въ началѣ своего поэтического поприща. Русская жизнь, русская старина попрежнему служили ему источникомъ чистыхъ и серьезныхъ вдохновеній. Онъ, по справедливости, считается творцомъ настоящей русской баллады, которая у него, согласно духу народнаго ума, является, по преимуществу, съ характеромъ притчи. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ талантъ поэта, всегда серьезный, обнаруживалъ все болѣе и болѣе зрѣлости, приемованные звуки его достигали полноты и глубины давно уже не слыханной въ русской поэзіи, пока, наконецъ, въ предсмертной поэмѣ Драконъ, не облеклись въ упругую, кованую красоту дантовскихъ терцинъ.

Почти одновременно съ лирическими стихотвореніями, графъ Толстой выступилъ въ нашей литературѣ въ качествѣ романиста и драматическаго писателя. Историческій романъ его Князь Серебряный, явившійся первоначально въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и потомъ выдержавшій нѣсколько отдѣльных изданій, имѣлъ успѣхъ рѣдкій въ то глухое для литературныхъ интересовъ время. Безъ сомнѣнія, романъ этотъ еще хорошо памятенъ нашимъ читателямъ, и нѣтъ надобности пересказывать здѣсь его содержаніе. Всѣ почувствовали то свѣжее, бодрое, серьезное впечатлѣніе, которое должна была произвести эта полная драматическаго и историческаго интереса эпопея старой русской жизни, захваченной въ тотъ критическій моментъ, когда она трепетала надъ достигнутою первоначальною задачей государственнаго объединенія, смутно отыскивая въ темнотѣ новые, еще только что обозначавшіеся пути дальнѣйшаго развитія. Романъ столько же былъ плодомъ добросовѣстной исторической и

археологической эрудиціи, сколько выраженіемъ общественныхъ идеаловъ автора, воспитанныхъ на глубокомъ проникновеніи самыми жизненными элементами народнаго духа, и воплощенныхъ въ художественномъ, нравственно-гражданскомъ образѣ князя Серебрянаго, этого старо-русскаго земскаго человѣка, такъ просто и такъ страстно чувствовавшаго добро и зло родной страны. Французскій историкъ нашей литературы Куррьеръ сравниваетъ этотъ романъ съ произведеніями Вальтеръ-Скотта; мы позволимъ себѣ замѣтить, что у русскаго автора, помимо художественныхъ красотъ, богатства бытовыхъ красокъ и прелести разсказа, замѣчается еще нѣчто такое, чего не доставало англійскому романисту — ширина замысла и присутствіе озаряющей, глубоко-человѣчной идеи.

Основательное изученіе эпохи, изученіе не по буквѣ только, но и по духу, постиженіе ея серьезныхъ драматическихъ мотивовъ и трагическаго элемента въ характерѣ Грознаго царя, не позволили графу Толстому исчерпаться на этомъ романѣ и надолго задержали его въ томъ поэтическомъ кругѣ, изъ котораго вышелъ у него цѣлый рядъ замѣчательныхъ художественныхъ созданій. Самымъ яркимъ и цѣльнымъ изъ нихъ справедливо почитается трагедія Смерть Іоанна Грознаго, съ появленіемъ которой имя графа А. К. Толстого получило европейскую извѣстность. Пьеса эта, много разъ и съ постояннымъ успѣхомъ представленная на нѣсколькихъ русскихъ сценахъ, являлась и предъ европейскою публикой, признавшею въ авторѣ первоклассное дарованіе. У насъ, при ничтожномъ числѣ истинно-поэтическихъ созданій для сцены, это произведеніе нельзя не признать явленіемъ въ высшей степени замѣчательнымъ. Это единственная наша «трагедія» въ полномъ значеніи слова — «трагедія», а не просто «драма» — и здѣсь главное ея право на совершенно уединенное положеніе въ нашей литературѣ. Трагическій элементъ всегда отсутствовалъ въ русской поэзіи. Мы имѣли прекрасные, хотя не многочисленные образцы комедіи и драмы, но за настоящую трагедію не брался никто изъ нашихъ поэтовъ послѣ псевдо-классиковъ XVIII столѣтія, подражательныя творенія которыхъ не пережили своего поколѣнія. Пушкинъ назвалъ своего «Бориса Годунова» трагедіей, но, очевидно, только потому, что въ его время слова: трагедія и драма, считались у насъ синонимами. Настоящій трагиче-

скій замыселъ является только въ Смерти Іоанна Грознаго; въ этой пьесѣ есть дѣйствительный «трагическій ужасъ»—элементъ недостающій вообще новымъ поэтамъ.

Нѣчто трагическое чувствуется уже въ самой идеѣ пьесы. Поэтъ избралъ предметомъ «смерть» историческаго лица. Не жизнь, не дѣйствія, не драматизмъ воли и страсти, а смерть, то-есть тотъ отрицательный моментъ, когда загасаетъ всякая борьба, всякое движеніе, когда въ человѣческой міръ сходитъ нѣчто неумолимое и неотразимое, подобное року греческой трагедіи. Этотъ моментъ, несмотря на то, что разрѣшается лишь въ пятомъ актѣ, наполняетъ всю пьесу отъ начала до конца. Смерть чувствуется уже въ первыхъ сценахъ, изображающихъ царя Ивана въ капризѣ отреченія. Это первыя судороги смертной агоніи. Царь живъ, врачи пророчатъ ему еще многіе дни, онъ еще страшенъ, онъ еще много разъ обогрѣтъ свои руки въ невинной крови, онъ разрушить еще многія жизни, но страшное чувство собственной отлетающей жизни мертвить и душить его. Онъ испытываетъ муки разложенія, онъ тяготится бременемъ власти, напоминающимъ ежеминутно объ уходящей жизни:

Острупился мой умъ;  
Изныло сердце; руки неспособны  
Держать бразды; ужъ за грѣхи мои  
Господь послалъ поганымъ одолѣнье,  
Мнѣ жъ указалъ престолъ мой уступить  
Другому; беззаконія мои  
Песка морского паче; сыроядецъ—  
Мучитель — блудникъ — церкви оскорбитель—  
Долготерпѣнья Божьяго пучину  
Послѣднимъ я злодѣйствомъ истощилъ!  
... Душу я діаволу отверзъ!  
Нѣтъ, я не царь! я волкъ! я песъ смердящій!  
Мучитель я! Мой сынъ, убитый мною!  
Я Каина злодѣйство превзошелъ!  
Я прокаженъ душой и мыслью! Язвы  
Сердечныя безчисленны мои!

Въ то время какъ царь Иванъ терзается въ своей мрачной опочивальнѣ, въ другой палатѣ дворца происходитъ иная сцена: бояре выбираютъ новаго царя. Годуновъ скромно занимаетъ самое заднее мѣсто; но ходъ преній незамѣтно выдвигаетъ его на середину, а наконецъ, и совсѣмъ впередъ. Бояре сами удивляются, какъ это такъ случилось: «Сѣлъ ниже всѣхъ, а подъ конецъ сталъ первый!» замѣчаетъ Голи-



цынъ. Мы привели на память эту подробность потому, что она занимаетъ чрезвычайно важное мѣсто въ концепціи трагедіи. Возвышеніе Годунова, мастерски сосредоточенное въ одной сценѣ, есть также элементъ «смерти», въ его лицѣ вырастаетъ та враждебная сила, которая въ пятомъ актѣ убьетъ Ивана своимъ ядовитымъ взглядомъ. Двѣ первыя сцены трагедіи, въ которыхъ такъ художественно сцентрированы обѣ главные личности, Ивана и Бориса — это двѣ точки, отъ которыхъ идутъ всѣ параллельныя линіи, до послѣдней сцены пятаго акта.

Но еще въ первомъ актѣ, вслѣдъ за припадкомъ покаяннаго самообличенія, характеру Грознаго царя авторъ даетъ чрезвычайно тонкое и глубоко продуманное развитіе. Какою психическою правдой, какимъ внутреннимъ трагизмомъ звучать ироническія слова Ивана, встрѣчающаго думныхъ бояръ:

Бью вамъ челомъ, бояре!  
Довольно долго совѣщались вы.  
Но, наконецъ, вы приговоръ вашъ думный  
Постановили и, конечно, мнѣ  
Преемника назначили такого,  
Которому не стыдно сдать престолъ?  
Онъ, безъ сомнѣнья, родомъ знаменитъ?  
Не меньше насъ? Умомъ же, ратнымъ духомъ  
И благочестіемъ и милосердьемъ  
Насъ и получше будетъ?—Ну, бояре?  
Предъ кѣмъ я долженъ преклонить колѣна?  
Предъ кѣмъ пасть ницъ? Передъ тобой ли, Шуйскій?  
Иль предъ тобой, Мстиславскій? Иль, быть-можетъ,  
Передъ тобой, бояринъ нашъ Никита  
Романовичъ, враговъ моихъ заступникъ?  
Отвѣтствуйте, я жду!

И когда Годуновъ объявляетъ, что бояре не нашли никого достойнымъ занять престолъ и бьютъ ему челомъ, чтобъ онъ попрежнему правилъ ими, Иванъ «долго молчитъ». Въ этомъ долгомъ молчаніи чувствуется и подозрительная радость, и сомнѣніе въ искренности приговора, и внутренняя потребность скрыть свои чувства и найти предлогъ къ новому капризу тираническаго сердца:

Такъ вы меня принудить положили?  
Какъ плѣнника связавъ меня, хотите  
Неволей на престолѣ удержать?  
Должно-быть, вамъ мои пришлось бармы  
Не по плечу? Вы тягость государства

Хотите снова на меня взвалить?  
Оно-де такъ сподручнѣй?

Здѣсь не мѣсто слѣдить шагъ за шагомъ за развитіемъ трагедіи, достоинства которой уже достаточно оцѣнены, если не критикой, то самою публикой. Но нельзя не указать на тѣ высокія, такъ-сказать, центральныя мѣста въ ней, благодаря которымъ это произведеніе навсегда останется въ числѣ образцовыхъ въ русской литературѣ. При необычайной простотѣ дѣйствія, представляющей какъ бы развитіе только одного трагическаго момента, интересъ пьесы, главнымъ образомъ, сосредоточенъ на художественномъ возсозданіи двухъ историческихъ характеровъ. Соблюдая всѣ необходимыя сценическія условія, не чуждаясь даже законныхъ театральныхъ эффектовъ (къ таковымъ принадлежать, на примѣръ, появленіе на Замоскворѣцкой площади Григорія Годунова на конѣ, въ четвертомъ актѣ, и пляска скомороховъ предъ умершимъ царемъ въ пятомъ актѣ), авторъ не разбрасываетъ, не раздвигаетъ безъ нужды дѣйствія, а напротивъ, старается какъ можно болѣе сосредоточить его на полнѣйшей вырисовкѣ двухъ главныхъ лицъ, единственныхъ дѣйствующихъ захваченнаго трагическаго момента. И можно сказать безъ всякой натяжки, что каждый новый выходъ Грознаго царя и Бориса, почти каждое слово, ими произносимое, служатъ къ полнѣйшей и рельефнѣйшей ихъ характеристикѣ. Все обдуманно, соображено, все ведетъ къ главной художнической цѣли, все полно красокъ и свѣжей историчности. Такова, на примѣръ, сцена между Борисомъ и царемъ во второмъ актѣ, гдѣ Годуновъ пытается отговорить царя отъ брака съ англійскою принцессой и гдѣ царь отвѣчаетъ ему надменно:

Не на день я, не на годъ устрою  
Престоль Руси, но въ долготу вѣковъ;  
И что вдали провижу я, того  
Не видѣть вамъ куринымъ вашимъ окомъ!  
Тебя же, знай, держу лишь для того,  
Что ты мою вершишь исправно волю;  
А въ томъ и вся твоя заслуга.

Таковы также превосходныя сцены третьяго акта, гдѣ Грозный царь, сначала въ разговорѣ съ Годуновымъ, потомъ съ царицей и Захарьинымъ и, наконецъ, съ посланцемъ короля польскаго Гарабурдой обнаруживаетъ капризную энергію,

заключавшую въ себѣ признаки чего-то близкаго къ помѣпательству и заставившую его воскликнуть въ дикомъ гнѣвѣ при извѣстїи о пораженїи русскихъ войскъ:

Лгутъ гонцы!

Повѣсить ихъ! Смерть всякому, кто скажетъ,  
Что я разбитъ! Не могутъ быть разбиты  
Мои полки! Вѣсть о моей побѣдѣ  
Должна прїйти! И нынѣ же молебны  
Побѣдныя служить по всемъ церквамъ!

Таковы, въ особенности, удивительныя по силѣ и по тонкости психическаго анализа сцены четвертаго акта, гдѣ Иванъ, послѣ бесѣды съ волхвами, заставляетъ Бориса читать синодикъ о невинно избѣенныхъ имъ людяхъ и, получивъ извѣстїе о пожарѣ дворца въ слободѣ, въ который среди зимы ударилъ громъ, испытываетъ припадокъ смертнаго ужаса. Очамъ его представляется страшный призракъ убитаго въ томъ дворцѣ сына. «Что это было?» восклицаетъ онъ,—

Борись, оставь, оставь теперь синодикъ,  
Мы послѣ кончимъ! Слышите? Что тамъ  
Скребеть въ подпольѣ? Слышите? Еще!  
Еще! Все ближе! Да воскреснетъ Богъ!  
Я царь еще! Мой срокъ еще не минулъ!  
Я царь еще — покаяться я властенъ!  
Ирина, Ѳеодоръ, Марья! Станьте здѣсь—  
Другъ подлѣ друга. Ближе, такъ, бояре!  
Всѣ рядомъ станьте здѣсь передо мной—  
Чего боитесь? Ближе! Я у всѣхъ (кланяется въ землю),  
У всѣхъ у васъ прощенїя прошу!

По своей деспотической натурѣ, онъ и на это покаянное сокрушенїе о грѣхахъ своихъ смотритъ съ точки зрѣнїя самовластїа, и когда Шуйскій замѣчаетъ, что ему ли, государю, у рабовъ своихъ просить прощенїа, — «Молчи, холопъ!» восклицаетъ Грозный царь,

Я каяться и унижаться властенъ  
Предъ кѣмъ хочу!

Затѣмъ слѣдуетъ извѣстная сцена со схимникомъ, послѣ которой царь, вновь чувствуя близкій конецъ свой и получая новыя тревожныя вѣсти о приближенїи Крымскаго хана, приказываетъ снарядить пословъ къ Баторїю, чтобы купить миръ съ нимъ цѣною несслыханныхъ уступокъ. Напрасно возмущенные бояре предлагаютъ ему пожертвовать своими го-



ловами и достояніемъ, чтобы спасти Русь отъ такого униженія — царь гордо возражаетъ имъ:..

Когда,

Мои грѣхи предъ смертью искупая,  
Я унижаюсь — я, владыка вашъ —  
Тогда не вамъ о вашей чести думать!  
Ни слова болѣ! — Шуйскій! Ты къ разсвѣту  
Мнѣ грамоту къ Батуру изготовишь,  
А Пушкину съ товарищи велишь,  
Чтобы, чѣмъ свѣтъ, они сбирались ѣхать;  
Чтобы они въ своихъ переговорахъ  
Вели себя смиренно, кротко, тихо,  
Чтобы сносили брань и оскорбленія  
Безропотно, чтобъ все сносили — все!

Новыя возраженія и ропотъ бояръ приводятъ его въ бѣшенство; онъ шатается и, поддерживаемый Годуновымъ, повторяетъ свой наказъ:

Подъ страшной смертной казнью,  
Пословъ, немедля, снарядить! Велѣтъ имъ,  
Чтобъ все сносили, все терпѣли — все,  
Хотя бъ побой! Боже Всемогуцій!  
Ты своего помазанника видишь —  
Достаточно ль унижень онъ теперь?

Въ пятомъ актѣ мы видимъ уже полное развитіе трагическаго момента, составляющаго пьесу. Годуновъ дождался того «Кирилина дня», когда, по предсказанію волхвовъ, долженъ умереть Грозный царь. Онъ безпокоенъ; его смущаетъ, что недугъ царя, вопреки предсказанію, облегчился именно къ этому дню; онъ зоветъ волхвовъ, чтобъ они разсѣяли его тревогу, но темныя прорицанія ихъ повергаютъ его еще въ большій мракъ. Семь лѣтъ царствованія предсказаны ему, но неизвѣстно, близокъ или далекъ этотъ день, и неизвѣстно, кто эти три противника, стоящіе препятствіемъ на его честолюбивомъ пути. Въ смятеніи обращается онъ къ царскимъ врачамъ, полагая узнать отъ нихъ что-либо болѣе определенное о силахъ царя. Якоби говоритъ, что самое главное — удалить отъ царя всякое потрясеніе и волненіе.

Вы трудное условье положили  
Для исцѣленья царскаго недуга —

отвѣчаетъ Борисъ и, оставшись одинъ, добавляетъ:

Я больно ошибаюсь,  
Иль многое рѣшится въ этотъ день!

Слѣдуетъ заключительная картина трагедіи, гдѣ является та «смерть», которая и есть главный, хотя и невидимый герой пьесы. Царь чувствуетъ себя въ этотъ день бодрѣе, чѣмъ былъ въ послѣднее время, къ нему возвращается надежда жизни—подозрительная, призрачная надежда, прерываемая ежеминутно возвращающимся страхомъ и сомнѣніемъ. Кто не помнитъ этой тонко выдержанной сцены пререканія съ боярами, на пожеланія которыхъ царь подозрительно восклицаетъ:

Да развѣ я еще  
Не исцѣленъ? что вы сказать хотите?  
Я развѣ боленъ? Солнце ужъ заходить,  
А я теперь бодрѣй, чѣмъ утромъ былъ,  
И проживу довольно лѣтъ, чтобъ царство  
Устроить вновь!

Царь успокоивается на короткое время и садится играть съ Вѣльскимъ въ шахматы. Входитъ Годуновъ, и на вопросъ Ивана, что говорятъ волхвы, передаетъ ихъ отвѣтъ, что ихъ наука достовѣрна и что Кирилинъ день еще не миновалъ. Царь испытываетъ при этомъ отвѣтѣ то потрясеніе, отъ котораго велѣлъ охранять его Якоби; въ неподвижномъ, ядовитомъ взглядѣ Бориса онъ читаетъ «смерть».

Мы только привели читателю на память главнѣйшія сцены трагедіи и въ выборѣ этихъ сценъ сошлись съ г. Куррьеромъ, который въ своей «Histoire de la littérature contemporaine en Russie» указываетъ на нихъ также какъ на наиболѣе замѣчательныя. Скажемъ, кстати, что французскій авторъ считаетъ Смерть Іоанна Грознаго «безспорно одной изъ лучшихъ драмъ, написанныхъ для русской сцены». Онъ сравниваетъ ее съ историческими драмами г. Островскаго и находитъ, что въ ней «характеры представляютъ болѣе глубины, а портретъ царя Ивана—этой столь сложной съ психологической точки зрѣнія фигуры—нарисованъ съ совершенствомъ подробностей, съ какимъ никто еще не могъ сравняться». Трагедія эта заслуживаетъ болѣе полной критической оцѣнки, къ которой мы, быть-можетъ, еще возвратимся; въ настоящей же бѣглой замѣткѣ мы хотѣли только возобновить въ памяти читателя тѣ художественныя впечатлѣнія, которыя онъ, безъ сомнѣнія, не разъ испытывалъ за чтеніемъ поэтическихъ произведеній графа Толстого.

Смерть Іоанна Грознаго, какъ извѣстно, составля-

еть только первую часть драматической трилогіи. За нею слѣдовали драмы: Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ и Царь Борисъ, на которыхъ мы здѣсь не будемъ останавливаться, такъ какъ онѣ не представляютъ дальнѣйшаго шага въ развитіи авторскаго дарованія. Повидимому, новый подъемъ обнаружилъ графъ Толстой въ драмѣ Посадникъ, надъ которою онъ работалъ въ самое послѣднее время жизни и которая, къ вѣчному сожалѣнію, осталась неоконченною. Пока это посмертное произведеніе еще не увидѣло свѣта, считаемъ умѣстнымъ привести здѣсь отзывъ о немъ одного изъ присутствовавшихъ на засѣданіи въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности, посвященномъ памяти графа Толстого, пользуясь отчетомъ, помѣщеннымъ въ № 290 «Московскихъ Вѣдомостей». Изъ этой выдержки читатели познакомятся отчасти и съ самымъ содержаніемъ недоконченнаго произведенія, скорѣйшее обнародованіе котораго составляетъ долгъ близкихъ къ покойному поэту людей:

«Чтеніе лирическихъ произведеній графа заключено было его драмой, присланною для Общества въ рукописи, Посадникъ. Читавшій, дѣйствительный членъ Общества П. А. Безсоновъ, въ краткихъ словахъ обрисовалъ предварительно ту эпоху или, лучше, тѣ краткіе, но тяжкіе для новгородской жизни часы, которые взяты авторомъ для воспроизведенія: когда обложенный грозною осадой Суздальской и Низовой земли великій и старый городъ раздираемъ былъ внутри гражданскими партіями и разгаромъ личныхъ страстей. «Свѣжая могила (прибавилъ читавшій) унесла отъ насъ тайну послѣдней развязки, многія краски лицъ и характеровъ, едва только выступавшихъ на сцену въ бѣгломъ очертаніи, а вмѣстѣ скрыла нерѣдко и самое «выраженіе» лицъ и «тонъ рѣчей ихъ». Въ этомъ отношеніи остается иногда обращаться при чтеніи къ догадкамъ и особенно къ тѣмъ личнымъ воспоминаніямъ, которыя оставилъ по себѣ авторъ въ средѣ сочленовъ; всѣ помнятъ, конечно, и какъ смотрѣлъ онъ самъ на древнія историческія лица и какъ передавалъ ихъ рѣчи въ чтеніи... Слушателямъ драмы представились засимъ ряды ярко изображенныхъ героевъ и героинь, поставленныхъ въ самое драматическое положеніе: строгія черты женскихъ новгородскихъ типовъ; гордая, непреклонная и взыскательная вдова стараго посадника, боярыня Мамелеа; покорная, сосредоточенная на счастіи мужа и семьи, жена



посадника Глѣба; любящая, вся проникнутая самоотверженіемъ Наталья, «нищая духомъ», какъ отзывались о ней вокругъ, и которой обѣщаль прощеніе грѣховъ отецъ духовный «за простоту ея и милостивость»,—Наталья, до самоубвенія преданная любимому и вынужденная на тяжкое преступленіе противъ него ради спасенія жизни брату. Уловить и перенести на живую сцену черты такихъ женскихъ характеровъ изъ древней русской жизни—требовалось большое искусство, а придать имъ значеніе политическое въ тяжкія минуты Новгорода, для этого нужна была рука писателя опытнаго. Можно сказать, что съ типами мужчинъ художнику было легче обойтись: зато характерамъ ихъ, весьма естественнымъ и историческимъ для Новгорода, онъ сумѣлъ придать особенный драматизмъ постановки. Впереди всѣхъ, разумѣется, стоитъ самъ посадникъ—по имени котораго драма—Глѣбъ Миронычъ: строгій до суровости, неумолимый въ податяхъ и карахъ, предметъ всеобщаго уваженія и страха, онъ погруженъ весь въ одну историческую задачу Новгорода, а за нею какъ бы не видитъ личныхъ проступковъ, слабостей и даже пороковъ частной дѣятельности въ окружающихъ лицахъ,—онъ снисходителенъ къ нимъ и выше предразсудковъ; въ минуты опасности, жертвуя для нея собственною гражданскою честью, за себя не страшась ничего въ мірѣ и открывая совѣсть Единому Богу, онъ въ то же время дрожить голосомъ, видя опасность молодого воеводы, и на бородѣ его новгородцы съ изумленіемъ указываютъ катящіяся слезы; конечно, никого въ жизни не молившій, кромѣ Бога, онъ молить однакоже младшаго боярина, какъ отца сына:

Бояринъ Чермный!..

На волосѣ повисла воля наша!  
Тобой однимъ лишь Новгородъ стоитъ!  
Когда тебя убьютъ или захватятъ,  
Вразбродъ какъ разъ сдѣланіе поидетъ.  
И легкая добыча будетъ князю...  
Не забывай, что ты святой Софій  
И щить и стягъ; и что друзья княжін  
Въ самихъ стѣнахъ Новгородскихъ ищутъ  
Тебя избыть... Въ опасность не хоти  
Пускаться даромъ!..

«Наконецъ, это лицо, привыкшее къ почету вокругъ, вынуждено трагическимъ оборотомъ дѣлъ признать себя передъ

вѣми, на вѣчѣ, «воромъ», просить о немедленномъ приговорѣ себѣ итти изъ дорогой отчизны въ ссылку. Другой, за нимъ слѣдующій, бояринъ Чермный, образецъ пылкаго и своевольнаго героя-повольника, который живетъ въ Новѣ-городѣ «вѣселъ», пока не ударилъ часъ его, призавшій стать стражемъ родного города; и въ эту самую критическую минуту любимая Наталья, для которой онъ отважно отдалъ себя въ пищу злымъ пересудамъ, вынужденнымъ преступленіемъ лишаетъ его самаго дорогого — воинской чести, чести воеводской. Прочія лица, представитель то молодой новгородской удали, то интригъ политической партіи, хотя всѣ изображены очень рельефно, но нельзя сказать, чтобы вполнѣ оригинальны: ихъ можно вездѣ встрѣтить и въ нашей древней Руси и въ творествѣ, ей посвященномъ. Слѣдуетъ только повторить, что «всѣ они безъ исключенія» поставлены въ драматическое положеніе той или другою ситуаціей. Можно бы еще прибавить, что, такъ-сказать, въ произведеніи «слишкомъ много завязки», и если бы другими опытами соотечественники не были увѣрены въ высокомъ талантѣ покойнаго, можно бы усомниться, насколько удачно успѣлъ бы онъ все это развязать. Несомнѣннымъ остается одно: драматизмъ необыкновенно глубокъ, и «движеніе драматическаго дѣйствія чрезвычайно быстро». Лица, такъ-сказать, не приостанавливаются ни на минуту и не задерживаютъ собою сцены: говоря, они дѣйствуютъ, дѣйствуя — спѣшно поступаютъ впередъ къ развязкѣ, и дѣйствіе не описывается, не повѣствуется, а неудержимо, силою вещей, совершается. Съ этой стороны, сравнивая предыдущія драмы автора, всякій сознается, что онъ далеко ступилъ впередъ въ творствѣ, и Посадникъ есть «лучшее» изъ его «драматическихъ» произведеній. При всемъ томъ, что оно не окончено, что самъ авторъ, повидимому, ради указанныхъ причинъ, медлитъ развязкой и что, наконецъ, чтеніе драмы продолжалось около «двухъ часовъ», до одиннадцати вечера, судя по всѣмъ отзывамъ слышавшихъ, впечатлѣніе, на нихъ произведенное, было глубоко, цѣльно и полно.

Съ грустнымъ чувствомъ мы начали эту замѣтку, и съ грустнымъ чувствомъ ее кончаемъ. Ряды нашихъ поэтовъ рѣдѣютъ. Смерть преждевременно пресѣкла эту прекрасную жизнь, полную свѣтлаго служенія искусству. Говоримъ — преждевременно, потому что графъ Алексѣй Константино-

вичъ находился еще въ зрѣломъ расцвѣтѣ силъ и былъ полонъ творческаго огня. Въ головѣ его роились планы и образы, онъ былъ наканунѣ самыхъ серьезныхъ и плодотворныхъ вдохновеній. Одинъ изъ старѣйшихъ представителей нашей литературы говорилъ намъ, что послѣднія письма къ нему графа Толстого, наполовину наполненные стихами, поражали избыткомъ творчества, бывшаго черезъ край даже въ простой дружеской перепискѣ... Кто знаетъ, сколько прекрасныхъ созданій зрѣлаго вдохновенія безвозвратно унесла могила!

А.



## Поэтъ-богатырь \*).

(По поводу писемъ гр. Алексѣя Толстого.)

### I.

У благодушнаго Я. П. Полонскаго есть слѣдующее замѣчательное стихотвореніе:

Писатель, если только онъ  
Волна, а океанъ — Россія,  
Не можетъ быть не возмущенъ,  
Когда возмущена стихія...

Писатель, если только онъ  
Есть нервъ великаго народа,  
Не можетъ быть не пораженъ,  
Когда поражена свобода...

Истинный писатель, всегда и всюду, есть первый страдалецъ своего народа, и можетъ-быть, онъ одинъ — истинный страдалецъ. Его прекрасный даръ часто обращается для него въ проклятіе: въ его сердцѣ минутами сосредоточивается все зло міра, вся боль общественнаго сознанія. Народная масса гибнетъ, но психически не страдаетъ; больныя ткани тѣла разлагаются, но не ощущаютъ этого, и только одни нервы испытываютъ жгучую боль, сами оставаясь нетронутыми. Испытывать отдѣльной волнѣ все дрожаніе океана! Быть нервомъ великаго народа и выносить его страданія! Участь трагическая. Она была бы невыносимою, если бы не была естественной: скорбь свойственная генію, какъ замѣтилъ еще Аристотель. Генію же, прибавилъ бы я, свойственна и высшая радость: въ томъ же сердцѣ истиннаго писателя есть мѣсто и для мірового счастья, для острыхъ

\*) М. О. Меньшиковъ, «Критическіе очерки». Спб. 1899 г.

наслаждений сознанія, недоступныхъ толпѣ. Счастливъ «нервъ великаго народа», чувствующій себя въ тѣлѣ живомъ и цвѣтущемъ, полномъ кипучей жизни. Но гораздо чаще этотъ нервъ ощущаетъ себя среди гнойныхъ язвъ, застарѣлыхъ, неизлѣчимыхъ...

Въ примѣръ писательскихъ мученій позвольте привести графа Алексѣя Толстого, насколько жизнь его отразилась въ недавно напечатанныхъ очень интересныхъ письмахъ его. Исполнилось 20 лѣтъ со смерти поэта, но онъ не дождался, конечно, отъ своего поколѣнія даже сколько-нибудь приличной біографіи. Этотъ замѣчательный талантъ уже заволакивается въ памяти общества забвеніемъ, сочиненія его расходятся по одному изданію въ десять лѣтъ... Такъ вотъ ради этой неблагодарности къ нему общества, вспомнимъ же, какъ онъ страдалъ при жизни—не за себя страдалъ, а за тѣхъ, которые его и не знали и которые такъ скоро забыли...

Повидимому, совсѣмъ не подходящій примѣръ; судя по мимолетнымъ свѣдѣніямъ о личности графа и его бодрой и ясной музѣ, нельзя предположить въ немъ «страдальца за народъ». Аристократъ *pur sang*, принятый въ самыхъ высшихъ сферахъ, другъ дѣтства императора Александра II, независимый, блестящій, одаренный... Какой онъ страдалецъ? Онъ былъ скорѣе тонкій литературный жуиръ, любитель рѣдкостей въ обширныхъ, ему доступныхъ сокровищахъ исторіи и поэзіи. Въ его стихахъ и прозѣ почти не отразилась современность; его занимала древняя русская эпоха или легенды западныхъ странъ.

Таково ходячее мнѣніе объ этомъ поэтѣ. По отвратительной русской чертѣ—искать въ человѣкѣ прежде всего дурныхъ качествъ и даже навязывать ихъ ему, Алексѣя Толстого упрекаютъ еще въ консерватизмѣ, «царедворствѣ» и т. п. и все это на гадкой подкладкѣ будто бы какихъ-то корыстныхъ расчетовъ. Но на самомъ дѣлѣ, все это очень несправедливо. «Консерваторъ» и «царедворецъ», подобно Пушкину, Толстой былъ, несомнѣнно, одинъ изъ искреннѣйшихъ людей своего времени,—не безъ недостатковъ, не безъ заблужденій, конечно,—но человѣкъ съ истинно-рыцарскими наклонностями и ужъ вовсе не холопъ. Ему все было дано для праздної и безпечной жизни, но дано было и «больше»: чуткое сердце, которое тотчасъ и обрекло его на страданія.

Да, вопреки ходячему мнѣнію, великосвѣтскій поэтъ, оказывается, былъ «нервъ великаго народа», былъ «пораженъ»—да еще какъ!—со всею жгучестью страстной, въ своемъ родѣ «толстовской» души—не даромъ же онъ назывался графомъ Толстымъ. Эти писательскія страданія графа сквозятъ изъ всѣхъ его крупныхъ вещей, въ его мощной лирикѣ и исторической прозѣ. Болѣе опредѣленно подчеркиваютъ эти страданія его частныя письма.

Кому адресованы письма—неизвѣстно, даже одному ли лицу. Но они писаны по-французски, часть ихъ адресована чрезъ Государственный Совѣтъ, и есть глухіе намеки на высокое положеніе нѣкоторыхъ изъ читавшихъ эти письма. Чтобы понять тягостное настроеніе этихъ писемъ, надо вспомнить, что всю свою юность А. Толстой провелъ при дворѣ, пробовалъ служить при самыхъ блестящихъ условіяхъ, ему открывалась самая широкая карьера—и все-таки онъ отъ всего отрекся, «бѣжалъ», какъ говорится, чтобы «прозябать въ деревнѣ»... Уже весной 1860 года черезъ m-lle Тютчеву Ал. Толстому было сдѣлано какое-то новое предложеніе, которое причиняетъ ему видимыя страданія. «Вотъ что я имѣю сказать въ отвѣтъ m-lle Тютчевой»,—пишетъ Алексѣй Толстой:—«... я готовъ преклониться передъ тѣмъ, который сумѣетъ приспособиться къ какой-нибудь роли, чтобы дойти до благородной цѣли... но для этого необходимы «особенныя дарованія», которыхъ у меня нѣтъ. Интересно было бы на меня посмотреть въ мундирѣ III отдѣленія! Развѣ есть у меня необходимая для этого ловкость? Я только себя запачкаю безъ всякой пользы для кого-либо! Но это лишь примѣръ! Есть положенія, которыя, не будучи нечистыми, также невозможны для меня, такъ какъ пришлось бы постоянно лгать. Я не говорю это, чтобы похвастаться—совѣмъ нѣтъ! Я бы хотѣлъ быть «способнымъ лгать», чтобы убить ложь, но этихъ «дарованій» у меня нѣтъ!»

## II.

Повидимому, въ нѣкоторыхъ сферахъ дѣлались энергическія усилія привлечь поэта къ какой-то службѣ, почетной, по общему мнѣнію, можетъ-быть, административной, но которая угрожала Алексѣю Толстому потерей независимости—



а онъ былъ гордъ и свободенъ до послѣдней клѣточки мозга! Уродиться такимъ «дикимъ» въ средѣ самыхъ высокихъ связей и самыхъ тонкихъ подчиненій—большое несчастье. «Я вамъ говорю,—съ отчаяніемъ продолжаетъ Толстой,—что я въ этой средѣ задыхаюсь, въ полномъ смыслѣ слова задыхаюсь! Предложите Тамберлику пѣть по уши въ водѣ. Этотъ элементъ не по мнѣ, я въ немъ никогда не могъ бы жить. Если я въ чемъ виноватъ, то лишь въ томъ, что я раньше категорично не объяснился,—и повѣрьте мнѣ, что если бы я высказалъ свое *scredo* отъ начала до конца, то не только бы не захотѣли меня удерживать, но пожали бы плечами отъ жалости. У меня другія «дарованія», и большая моя вина въ томъ, что я не отдался имъ вполне. Но лучше поздно, чѣмъ никогда. Если компромиссъ былъ возможенъ, то это тотъ, который есть, и я его принялъ изъ уваженія, изъ почтительности, изъ привязанности... Если этотъ компромиссъ мнѣ удастся,—я останусь; если нѣтъ,—я сдѣлаю иначе, но не такъ, какъ думаетъ *m-lle* Тютчева. Если бы я могъ довести мой образъ мыслей и чувствъ выше, я бы сдѣлалъ это съ радостью».

Похожъ ли этотъ Толстой, несомнѣнный «консерваторъ», на «лукаваго царедворца», какимъ его считали въ литературѣ? Приводимое письмо предназначено, повидимому, для очень высокаго вниманія, и оно дышитъ самою рѣшительною несговорчивостью, терзаніями между чувствомъ «привязанности» и нравственнымъ долгомъ.

«Мои силы,—пишетъ Толстой въ томъ же письмѣ,—совершенно парализованы по отношенію къ средѣ, о которой рѣчь. Что она мнѣ говоритъ про мою искренность, которую якобы цѣнятъ?! Ее, можетъ-быть, терпѣли иногда, но всегда безъ всякаго результата. Могутъ ли двѣ линіи, одна изъ которыхъ идетъ на востокъ, другая на западъ, когда-нибудь соединиться? Два человѣка, изъ которыхъ одинъ не понимаетъ языка, на которомъ говоритъ другой, могутъ ли когда-нибудь столкнуться? Можно ли разсуждать объ отвлеченныхъ матеріяхъ, когда не сговорились насчетъ азбуки? Можно ли достигнуть общаго результата, когда не только исходныя точки, но и цѣли совершенно различны? Можно ли прійти къ соглашенію, когда, напримѣръ, одинъ изъ собесѣдниковъ говоритъ:—вотъ скала посреди дороги, мѣшающая проходу, и потому необходимо удалить скалу; а другой отвѣчаетъ:—вотъ дорога, которая можетъ повести

къ устранинiю скалы, и потому необходимо закрыть эту дорогу?—Вотъ какiя отношенiя между мной и моимъ «собесѣдникомъ», но я иду слишкомъ далеко, такъ какъ мой собесѣдникъ «никогда» не входилъ со мною въ обсужденiе какихъ-нибудь «мыслей», — никогда! Въ его собственныхъ мысляхъ есть благородство, но «его система невѣрная, фальшивая». Его система не выдерживаетъ разсужденiя, — и если я буду дѣйствовать по его системѣ, я буду невѣренъ самому себѣ.

Похоже ли это на лукаваго царедворца?

Черезъ годъ, въ 1861 году, въ одномъ его письмѣ есть такая приписка: «...До свиданiя, дорогой другъ. Доброта и память обо мнѣ императрицы меня трогаютъ, лишь бы только эта доброта не была для меня причиною рабства. Цѣпи—всегда цѣпи, даже когда они изъ цвѣтовъ!»

### III.

Такова была одна изъ печалей души поэта. Вольнолюбивый, могучий, гордый, онъ родился въ мiрѣ для него чуждомъ. Вся молодость его прошла при дворѣ Николая I, въ вихрѣ свѣтской жизни, не лишенной обаянiя, какъ онъ признается, но отъ которой онъ «часто убѣгалъ, чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ лѣсахъ», стрѣляя лосей и медвѣдей. Его тревожилъ даръ поэзiи, опяняющая красота природы, умъ сильный и своеобразный, влекущiй къ какимъ-то страннымъ для того времени идеаламъ. Алексѣю Толстому открывалась, очевидно, самая «блестящая карьера», императоръ Александръ II дѣлалъ всѣ усилiя, чтобы привлечь своего любимца на службу—сначала военную, сдѣлавъ поэта даже флигель-адъютантомъ, но Алексѣй Толстой все отказывался:

О, государь, внемли: мой санъ,  
Величье, пышность, власть и сила—  
Все мнѣ несносно, все постыло!  
Инымъ призванiемъ влекомъ,  
Я не могу народомъ править:  
Простымъ рожденъ я былъ пѣвцомъ,  
Глаголомъ вольнымъ Бога славить.  
Въ толпѣ вельможъ всегда одинъ,  
Мученья полонъ я и скуки...

О, отпусти меня, калифъ,  
Дозволь дышать и пѣть на волѣ!

Эта мольба Іоанна Дамаскина (изъ поэмы А. Толстого того же названія) имѣетъ, какъ мнѣ кажется, автобіографическое значеніе. То самое смутное влеченіе, что заставило Іоанна промѣнять чертоги калифа дамаскаго на пустыню, неудержимо влекло Толстого изъ столичной жизни въ деревню, въ Красный-Рогъ, на грудь природы:

Благословляю васъ, лѣса,  
Долины, нивы, горы, воды,  
Благословляю я свободу  
И голубыя небеса!

Въ этомъ (какъ и во многомъ другомъ) нашъ поэтъ напоминаетъ своего великаго однофамильца, бѣжавшаго рано въ ясную жизнь своей деревни. Но оба они не успокоились на волѣ и успокоиться не могли. Оба черезчуръ гордые, чтобы нести цѣпи, свитыя даже изъ розъ, были одержимы самою страстною влюбленностью въ свободу, хотя оба же очень долго (а многими и до сихъ поръ) считаются за «отсталыхъ консерваторовъ». Но отношеніе обоихъ Толстыхъ къ консерватизму было совсѣмъ особое, чрезвычайно характерное и не дававшее имъ ничего, кромѣ страданій.

Вотъ что пишетъ Алексѣй Толстой въ 1868 году: «Перехожу къ литературѣ, которая и есть Ding an und für sich, такъ какъ все остальное есть лишь явленія и... Вы мнѣ говорите, что Теофилъ—это салонныхъ консерваторовъ... Я вамъ скажу съ грубою откровенностью... что такое эти консерваторы... ваши салонные консерваторы. Вы знаете, насколько я ненавижу все красное, и чортъ меня возьми, если я въ той или другой изъ моихъ трагедій хотѣлъ что-либо доказать. Я презираю всякую тенденцію въ литературномъ трудѣ, я ее презираю какъ пустой патронъ... Я это говорилъ, и повторялъ, и перевысказывалъ! Но не моя вина, если изъ написаннаго мною ради любви къ искусству само-собою вытекаетъ, что деспотизмъ никуда не годится. Тѣмъ хуже для деспотизма! Оно вездѣ выскажется, во всякомъ художественномъ трудѣ; оно выскажется даже въ бетховенской симфоніи. Я ненавижу деспотизмъ такъ же, какъ я ненавижу Сень-Жюста и Робеспьера и т. д..

«Я это не скрываю и провозглашаю это громко, да, м-г... V., да, я провозглашаю, не посѣтуйте, м-г Т... Я го-



товъ кричать это съ крышъ, но я слишкомъ художникъ, чтобы втискивать это въ художественную работу, и я слишкомъ монархистъ, да, m-g M..., я слишкомъ монархистъ, чтобы нападать на монархію. Я даже скажу, я слишкомъ художникъ, чтобы нападать на монархію. Но развѣ монархія и то или другое лицо, носящее корону — одно и то же? Развѣ Шекспиръ былъ республиканецъ, потому что онъ написалъ «Макбета» или «Ричарда III»? Шекспиръ при Елизаветѣ поставилъ на сцену своего «Генриха VIII», и Англія отъ этого не рухнула!»

Надо замѣтить, что гр. А. Толстой — личный другъ императора, егермейстеръ двора — не миновалъ участи быть обвиненнымъ въ «погрѣшеніи основъ». Его историческія драмы — Смерть Іоанна Грознаго, Ѳеодоръ Іоанновичъ и пр. были сочтены памфлетами противъ монархіи и строго запрещены въ провинціи. Въ письмѣ отъ 16-го дек. 1868 года А. Толстой съ горькою ироніей разсуждаетъ объ участи своихъ пьесъ. «Смерть Іоанна, — пишетъ онъ, — запрещена безъ всякихъ церемоній, но «Василиса Мелентьева» и «Опричникъ» позволены съ условіемъ, что губернаторъ дастъ имъ аттестатъ. Лонгиновъ (бывшій въ то время курскимъ губернаторомъ) очень озадаченъ циркуляромъ, который ему приказываетъ преслѣдовать всѣ пьесы, которыя не были разрѣшены для провинціи, тогда какъ онъ не имѣетъ никакого способа узнать ихъ. Пьесы раздѣлены на нѣсколько категорій: одни разрѣшены лишь въ столицахъ, другія — въ столицахъ и провинціяхъ; другія же — въ провинціяхъ, но съ аттестатомъ отъ губернатора. Это очень напоминаетъ парадную форму: праздничную, полную праздничную, полную парадную и парадную походную. Многіе изъ нашихъ лучшихъ генераловъ сошли съ ума отъ этихъ осложненій. Нѣкоторые впали въ младенчество, вслѣдствіе постоянного застегиванія и разстегиванія; двое застрѣлились. Я очень боюсь, что то же самое случится и съ тѣми и что они начнутъ ржать и ходить на четверенькахъ...» Даже Князя Серебрянаго Толстой писалъ со страхомъ и трепетомъ, хотя и «старался забыть, что цензура существуетъ...»

#### IV.

Но зачѣмъ было трепетать Толстому? Онъ могъ бы писать рутинныя «патріотическія» пьесы, спокойно выводить

въ нихъ отцовъ-благодѣтелей въ лицѣ Іоанновъ и Теодоровъ, и никто бы не причинилъ ему ни малѣйшей непріятности. Вѣдь, дѣлали же это многіе другіе писатели и дѣлаютъ до сихъ поръ. Да, «другіе», но не «онъ». Другіе — пишущая челядь, а онъ былъ истинный аристократъ, не только по титулу, а по благородной душѣ своей, не терпѣвшей ни малѣйшаго покушенія на ея свободу:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны  
Насиліе и гнетъ,  
Она, въ душѣ рожденная свободно,  
Въ оковахъ не умреть...

Это вдохновенное, страстное убѣжденіе А. Толстого, которое онъ проповѣдывалъ всю жизнь, онъ вложилъ въ уста Іоанна Дамаскина. Можно подумать, что сладость свободы была подсказана поэту этими личными его страданіями? Въ самомъ дѣлѣ, чувствовать себя одареннымъ свыше и не смѣть обнаружить этотъ даръ — это обидно; быть убѣжденнымъ другомъ порядка и быть заподозрѣннымъ въ измѣнѣ ему — это обидно; быть русскимъ до глубины сердца и чувствовать себя безправнымъ въ Россіи, какъ бы вѣчнымъ гостемъ у какихъ-то хозяевъ, засѣдающихъ въ департаментѣ — это обидно... «Другіе» не обижались, но онъ — съ душою рыцаря... Да, онъ страдалъ глубоко и за себя, но не только за себя, и, можетъ-быть, и за себя-то страдалъ только острую болью проснувагося въ немъ стихійнаго, народнаго сознанія.

Что составляетъ отличительную черту гр. Алексѣя Толстого какъ писателя? Кромѣ честной души, которая и между писателями встрѣчается не часто, кромѣ выдающагося таланта и образованія — Алексѣй Толстой выдѣляется совершенно своеобразнымъ историческимъ міросозерцаніемъ, своими особенными общественными вкусами. Онъ не былъ ни западникъ, ни славянофилъ, ни консерваторъ, ни либераль, ни государственникъ, ни анархистъ, а нѣчто совсѣмъ особое, для чего нѣтъ еще и названія въ русской жизни. Онъ считалъ идеаломъ государственности монархію — но какую? Современную ему? Нѣтъ, хотя личная дружба и связывала его съ императоромъ-Освободителемъ. Монархію «петербургскаго» (до реформъ) періода? О, нѣтъ, хотя онъ и служилъ ей, выросши при дворѣ. Монархію стараго, московскаго періода, столь воспѣтую нѣкоторыми славянофилами? Онъ ее ненавидѣлъ. «Моя ненависть, — пишетъ онъ

(въ 1869 г.),—къ «московскому періоду» есть идіосинкразія, и я не подвигиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю. Это не тенденція,—это я самъ. Откуда взяли, что мы «антиподы» Европы? Туча прошла надъ нами, «облако монгольское», но это была лишь туча, и чортъ долженъ поскорѣе убрать ее... Я нѣсколько словъ сказалъ объ этомъ въ моемъ проектѣ о постановкѣ «Федора». Нашли ли вы это сомнительнымъ: русскіе — европейцы, а не монголы!»

Вотъ корень міросозерцанія А. Толстого и источникъ его страданій. «Мы европейцы, а не монголы!» съ отчаяніемъ восклицалъ онъ въ вѣкъ грубый, когда русская жизнь еще едва начинала освобождаться отъ монгольскаго духа. Это было, скажете вы, въ разгарѣ нашего либерализма. Да, либерализма «на монгольскій ладъ» — съ новыми цѣлями, но со старыми средствами борьбы. Деспотизмъ монгольскій въ тѣ либеральныя 60-е годы еще былъ живъ въ нашихъ нравахъ, какъ живетъ онъ и доселѣ. «Мы европейцы, а не монголы!» готовъ былъ кричать съ крышъ бѣдный поэтъ, видя всюду въ жизни, и вправо и влево отъ себя, монгольскія начала. Тѣ, кто слышали его, соглашались, что мы европейцы — но, какъ нѣкоторые славянофилы и лжеохранители, проповѣдывали монголизмъ, сами того, быть-можетъ, не замѣчая. Истинный русскій человѣкъ, графъ А. Толстой чувствовалъ себя, сверхъ того, и истиннымъ европейцемъ: онъ носилъ въ себѣ подлинныя инстинкты не только своего племени, но и великой расы, къ которой это племя принадлежитъ. Онъ не даромъ еще ребенкомъ сидѣлъ на колѣняхъ Гёте и чуть не молился на статую работы Микель-Анджело: Европа была его истинною второю родиной послѣ Россіи, его душа вмѣщала всѣ откровенія западныхъ цивилизацій не какъ чуждыя, а какъ родныя, — правда, припозабытыя, но свои, какъ свои они для англичанина, нѣмца и французана.

## V.

Алексѣй Толстой, «двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный», какъ онъ себя характеризуетъ, отвергаемый обоими лагерями — консерваторами и либералами — я думаю, онъ былъ невѣдомо для себя предвѣстникомъ новой и въ то же время очень старой эры русскаго сознанія. Какъ кон-



серваторъ, онъ былъ гораздо, такъ-сказать, древнѣе «салонныхъ консерваторовъ» и даже московскихъ патріотовъ: то, что онъ считалъ за основы жизни русской, старше не только сегодняшняго дня, съ такимъ упорствомъ отстаиваемаго охранителями, но и старше ближайшихъ вѣковъ нашей исторіи. «Москва! Какъ много въ этомъ звукѣ для сердца русскаго слилось, какъ много въ немъ отзывалось». Даже столь искренніе люди, какъ Пушкинъ, были захвачены культомъ «матушки Москвы», единственнымъ подвигомъ которой послѣ Петра было сдаться французамъ безъ боя. Памятный день для Россіи 1812 годъ, тяжелая война и тяжелая побѣда омрачили и безъ того смутное сознаніе тогдашняго общества: изъ пепла Москвы возникла не только общественная реакція послѣдующихъ сорока лѣтъ, но и романтическій культъ допетровскаго времени. Не только Карамзинъ, но даже Пушкинъ и его созвѣздіе писателей были подъ вліяніемъ этого ложно-патріотическаго культа. Алексѣй Толстой всего на 18 лѣтъ былъ моложе Пушкина — но какая колоссальная разница въ міросозерцаніи! Впрочемъ, возвратившись къ до-татарскимъ идеаламъ, Алексѣй Толстой обогналъ сразу не только Пушкина, но даже и Тургенева съ его «постепеновскими» воззрѣніями. Онъ обогналъ нашъ вѣкъ; кромѣ Льва Толстого, котораго идеалъ еще шире и всемірнѣе, — люди даже нашего поколѣнія «конца вѣка» пока не въ состояніи вмѣстить мысль Алексѣя Толстого. Но я думаю, что будетъ же когда-нибудь время, когда эта мысль восторжествуетъ, когда мрачные «средніе» вѣка нашей исторіей будутъ признаны не единственнымъ и не лучшимъ выраженіемъ духа народнаго. Глубокъ еще сонъ русскаго общества, но когда онъ пройдетъ, возникнетъ же потребность усовершенствованія нашей жизни на началахъ дѣйствительной цивилизаціи, и вотъ тогда обнаружится, что общественное творчество — на самомъ дѣлѣ очень старое, только слишкомъ, къ сожалѣнію, забытое: это творчество первыхъ, самыхъ свѣжихъ и ясныхъ вѣковъ нашей исторіи. Самъ Алексѣй Толстой — этотъ блестящій придворный и аристократъ — что онъ такое, какъ не просыпающаяся душа великаго народа, послѣ многовѣкового гипноза? Алексѣй Толстой не отдѣлялъ себя отъ народа:

Но Потокъ говоритъ:—Я, вѣдь, тоже народъ,  
Такъ за что жъ для меня исключенье?..

Алексѣй Толстой былъ народенъ въ высшей, доступной его таланту степени и былъ страстно влюбленъ въ народность, но все же «катался на землѣ» отъ отчаянія, вспоминая, что судьба иногда дѣлала съ народомъ въ исторіи. Отчаяніе — одна изъ вершинъ сознанія, любовь и гнѣвъ вмѣстѣ:

Средь міра жи, средь міра мнѣ чужого  
Не навсегда моя остыла кровь:  
Пришла пора, и вы воскресли снова,  
Мой прежній гнѣвъ и прежняя любовь!

Въ лицѣ поэта просыпающійся народъ какъ бы припоминаетъ свои забытыя мечты, стародавніе, какъ сны юности, идеалы. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, мы не монголы, — въ самомъ дѣлѣ, мы рождены для иного, болѣе благороднаго удѣла, нежели тотъ, который навязало намъ вѣяніе Востока.

## VI.

«Теорія» гр. Алексѣя Толстого въ томъ, что было когда-то время, когда нравы наши были иные, полныя достоинства и свободы, и духъ деспотизма былъ чуждъ нашимъ предкамъ, какъ душѣ поэта. Но когда же была эта эпоха и была ли? Гр. А. Толстому принадлежитъ честь ея открытія русскому обществу, хотя онъ былъ и не историкъ и хотя и ранѣе его нѣкоторые историки догадывались объ этой, въ своемъ родѣ, затопленной волнами монгольства Атлантидѣ. Гр. А. Толстой былъ только поэтъ, но и одного художественнаго чутья было мало, чтобы найти лучшую изъ эпохъ исторіи: нужно было имѣть благородную душу, нерастлѣнные народныя инстинкты, ясный нравственный идеалъ. Все это нашлось у Алексѣя Толстого, и онъ безъ труда увидѣлъ единственный «европейскій періодъ нашей исторіи», какъ онъ его называетъ. Онъ его увидѣлъ не послѣ Петра, какъ принято смотрѣть, а послѣ... Рюрика. Неслыханная смѣлость, почти дерзость! Ересь противъ науки русской, противъ установившихся общественныхъ воззрѣній. Вѣдь, наука того времени утверждала, что «настоящая» русская исторія начинается только со временъ Москвы, которая одна явилась создательницей Россіи, собирательницей ея изъ хаоса удѣльнаго дробленія. Періодъ «до» Москвы считается подготовительнымъ, временнымъ, можетъ-быть, неизбѣжнымъ, но не настоящимъ.